



DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-572-581

ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ И ДВИЖЕНИЕ — ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ СДВИГИ*

В.И. Панов

ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования»
125009, Москва, Россия, ул. Моховая, д. 9, строение 4

В работе показано влияние физических представлений о пространстве, времени и движении на психологические исследования восприятия. Приведены данные экспериментального изучения формирования понятий о времени и скорости, проведенного Ж. Пиаже по просьбе А. Эйнштейна. Обозначены онтологическая, физикально-абсолютная и физикально-относительная парадигмы представления о времени. На примере апорий Зенона показана методологическая ограниченность гносеологической парадигмы в психологии восприятия. Утверждается, что человеческое мышление не способно к непосредственному осмыслению времени, так как представление о длительности опосредуется в нашем мышлении представлениями о пространственности. Как альтернатива гносеологической парадигме, излагаются принципы трансцендентальной парадигмы психологии восприятия А.И. Миракяна: формопорождения и структурно-процессуальной анизотропности. В качестве примера реализации этих принципов дается описание порождения пространственности и длительности на непосредственно-чувственном уровне восприятия. Делается вывод о том, что в методологическом плане психологию и физику объединяет общность методологических поисков, необходимых для понимания пространства, времени и движения. В перспективе должен произойти парадигмальный сдвиг: от гносеологической парадигмы в сторону онтологической парадигмы, а также от приоритета физических представлений в сторону психологических представлений о пространстве и времени.

Ключевые слова: пространство, время, движение, физикальные представления, психология восприятия, парадигма, трансцендентальная психология восприятия, формопорождающий процесс

ВВЕДЕНИЕ

Проблема и значение разного понимания пространства, времени и движения как фундаментальных свойств окружающего мира и как понятий, задающих ту или иную парадигму (способ) исследовательского мышления, многократно анализировались представителями философии, физики, психологии и других научных дисциплин [10].

Цель данной статьи заключалась в том, чтобы еще раз вернуться к этой проблеме «на стыке» психологии и физики. Дело в том, что соотношение психологии и физики как научных дисциплин носит исторически давний и в определенном смысле парадоксальный характер.

С одной стороны, начиная с эпохи Нового времени становление психологии как самостоятельной науки происходило и продолжает происходить под мощным влиянием физики как классического образца научного исследования: от научной

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ), проект № 16-06-00574а.

логики исследовательского мышления до критериев достоверности экспериментальных результатов. В качестве иллюстрации приведу только два примера. Первый — это парадигмальный переход от классической психологии восприятия, построенной в контексте «атомарно»-ассоциативной логики классической (механистической) физики [3 и др.], к гештальтпсихологии восприятия, которая построена в контексте «полевых» динамических взаимодействий, привнесенных в психологию из теории относительности и квантовой механики [15 и др.]. Вторым примером мы наблюдаем сейчас, когда физика, точнее сказать — философия физики, на современном этапе ее развития переживает парадигмальное осмысление своих методологических позиций в направлении «классическая физика — неклассическая физика — постнеклассическая физика». И вслед за этим, как отражение этого процесса, появляется целый ряд методологических работ в психологии, анализирующих развитие психологии в том же направлении: классическая, неклассическая и постнеклассическая парадигмы в психологических исследованиях.

С другой стороны, такие базовые для физики понятия и категории, как пространство, время, движение, скорость, взаимодействие и т.п., до сих пор относятся к числу психологических проблем, пока не имеющих общепринятого научно-психологического решения. Несмотря на тысячи исследований по психологии восприятия и две тысячи лет их истории, проблема психических механизмов, обеспечивающих порождение пространства, времени, движения, продолжает решаться на уровне феноменов восприятия и разного рода эмпирических данных, представляющих результативный, «продуктивный» уровень (срез) психических актов [1, 11].

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ВРЕМЕНИ

А что думают по этому поводу физики в лице А. Эйнштейна?

Оказывается, физики сами затрудняются ответить на такие «простые» вопросы, как «Что такое движение, скорость и время?». Для подтверждения приведу краткий анализ исследования восприятия времени и скорости, которое было проведено Ж. Пиаже по просьбе А. Эйнштейна. Знаменательна аргументация Эйнштейном этой просьбы: «во-первых, в силу того, что в физике связь этих понятий образует порочный круг (скорость определяется временем и пространством, а время измеряется только при помощи скорости), и, во-вторых, в силу того, что в классической механике время является более непосредственным и элементарным понятием, чем скорость, тогда как в теории относительности время зависит от скорости» [12. С. 10].

Если обратиться к психологическим исследованиям движения, скорости и времени, то мы обнаружим аналогичную понятийную неопределенность, когда одни перцептивные феномены объясняются через результаты отражения в непосредственно-чувственном процессе других феноменов восприятия движущегося объекта. Чаще всего уже воспринятого «пространственного положения» движущегося объекта относительно «пространственного положения» других объектов или самого наблюдателя (его глаза). Но чтобы было воспринято «пространствен-

ное положение» объекта, должна быть воспринята его «форма» (т.е. то же «пространство»). И в то же время восприятие «формы» зависит от того, находится данный объект в движении или он неподвижен, а для этого должно быть воспринято «движение» (или «неподвижность») этого объекта. В результате мы вернулись к тому, с чего начали, — к восприятию «движения»: движется или неподвижен данный объект восприятия.

Но вернемся к исследованию, проведенному Ж. Пиаже по просьбе А. Эйнштейна. Проведя исследования формирования понятий и восприятия времени и скорости, он пришел к двум выводам: «1) Существует первичная интуиция скорости, которая не зависит от длительности (но, естественно, зависит от порядка пространственной или временной последовательности): это интуиция “обгона”, выражающаяся в том, что тело А воспринимается движущимся быстрее, чем В, если вначале оно было сзади и затем оказалось впереди его; <...> 2) Формирование восприятий и понятий длительности, наоборот, предполагает всегда отношение к скорости (скорость-движение, скорость-частота, ритм и т.д.) в том, что касается прожитого времени, как такового времени, которое оценивается через посредство внешних явлений» [Там же. С. 10—11].

Таким образом, согласно Пиаже, в основе первичной интуиции скорости лежит чисто порядковое отношение, содержащее по крайней мере две операции: 1) восприятие того, что вначале тело А было сзади тела В, и 2) восприятие того, что затем тело А оказалось впереди тела В. Как видим, Пиаже рассматривает скорость (движение) более первичным, чувственно более ранним перцептивным образованием, чем длительность (время). При этом он не опирается на физическое определение движения. Но каждая из указанных им операций представляет собой установление пространственных отношений между данностью таких продуктов восприятия движущихся объектов, как: воспринятое «тело А», воспринятое «тело В», воспринятая «пространственная локализация» того и другого, а также восприятие «пространственного отношения» между ними: «сзади», «спереди».

Аналогичный отказ от явного использования механистического понимания движения в качестве исходного основания при изучении восприятия движения и переход на «операциональное» представление процесса восприятия движения можно увидеть в подходах, предлагаемых и другими исследователями восприятия.

Так, Дж. Гибсон предлагает рассматривать «...движение в окружающем мире <...> не как изменение положения точек» в соответствии со взглядами Исаака Ньютона, а «в виде изменений структуры» [3. С. 42]. При этом он обращает внимание, что и при стробоскопическом, и при действительном движении объекта порядок его воздействия одинаков на сетчатку глаза, например, «лево—право», «до—после». На основании этого он делает вывод, что стимулом для восприятия движения может выступать упорядоченность воздействия на сетчатку глаза, а не собственно «движение» объекта. Нетрудно заметить, что здесь мы имеем дело с вариантом той же логики абстрактно-логического расчленения движения объекта на отдельные его пространственные позиции (локализации), но спроецированные на сетчатку глаза.

Таким образом, в отличие от многих других исследователей восприятия движения, Пиаже и Гибсон понимали, что нельзя понять порождение представлений о пространстве, времени и движении (скорости), опираясь на их физическое понимание. Но в итоге им пришлось логически «расчленять» движущийся объект на его пространственную и временную составляющие.

Причиной этого является то, что в качестве исходных предпосылок используются, как правило, эмпирические данные о результатах (продуктах) свершившихся актов восприятия, для концептуализации которых используются физикальные (привнесенные из физики) представления об указанных свойствах и отношениях. Характерной особенностью этого способа мышления является использование и перенос на непосредственно-чувственный уровень психического процесса тех представлений и понятий, которые сформированы в классической и неклассической физике на основе картезианской логики «вещных отношений» и которые в парадигмальном плане реализуют *гносеологическую* парадигму исследовательского мышления в психологии.

Это было хорошо показано А.И. Миракяном и его сотрудниками на проблемах константности восприятия, восприятия формы и движения объектов и других пространственных свойствах окружающего мира [1, 7, 8 и др.]. В частности, показано, что восприятие скорости изучалось и продолжает изучаться либо исходя из физического ее понимания — как соотношения расстояния, пройденного движущимся объектом за определенный промежуток времени, либо опираясь на уже отраженные в акте непосредственно-чувственного восприятия ощущения пространственного положения (локализации) движущегося объекта [11].

АПОРИИ ЗЕНОНА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ

Методологическая ограниченность применения гносеологической парадигмы в психологических исследованиях является в определенном смысле продолжением ее достоинства. Дело в том, что мышление в рамках этой парадигмы построено и реализует известное логическое отношение «субъект познания — объект познания», а в психологии — производные от него логические отношения «субъект восприятия — объект восприятия», «субъект мышления — объект мышления» и т.п. Исторически такой способ исследовательского мышления восходит к разработанной еще Декартом логике мышления для научного изучения «вещных отношений», постулирующей отношения между телами (вещами), и т.п. явлений в форме *данности* их объективного существования, т.е., как говорят философы, в ставшей, уже развитой форме физического существования. Но логика «вещных отношений» Декарта, обусловившая естественнонаучный способ мышления и, более широко — гносеологическую парадигму психологических исследований, изначально была *не предназначена* для изучения условий и механизмов *порождения* (становления) явлений в форме становящейся реальности и тем более — для изучения явлений душевной, психической природы.

Методологическая ограниченность подобного способа мышления и, соответственно, гносеологической парадигмы (естественно, не в этих терминах), была замечена и использована еще античным философом Зеноном в его знаменитых апориях.

Одна из этих апорий, «Стрела», излагается Филопоном следующим образом: «Все, говорит он (Зенон. — *В.П.*), что находится в равном самому себе пространстве, либо покоится, либо движется, однако двигаться в равном самому себе пространстве невозможно, следовательно, оно покоится. Стало быть, летящая стрела, находясь в каждый из моментов (“теперь”) времени, в течение которого она движется, в равном себе пространстве, будет покоиться. Но раз она покоится во все моменты (“теперь”) времени, число которых бесконечно, то она будет покоиться и в течение всего времени. Однако, согласно исходной посылке, она движется. Следовательно, движущаяся стрела будет покоиться» [6. С. 310].

Эта формулировка апории интересна тем, что определение стрелы в «каждый из моментов („теперь“) времени» есть не что иное, как ее локализация в пространстве с помощью локализации во времени, расчленив «движение» на пространственную и темпоральную составляющие, абстрагируя их друг от друга и от процесса их порождения в непосредственно-чувственном акте восприятия. По сути это та же логика, которую мы видели у Пиаже и у Гибсона, когда они постулируют «пространственную локализацию» объекта в качестве эмпирического основания для объяснения восприятия движения. При этом обращает на себя внимание отсутствие «времени» в указанных рассуждениях.

И здесь возникает вопрос: а как мы мыслим «время», «длительность»?

Если проделать мысленный эксперимент (т.е. мысленно представить себе «длительность»), то обнаруживается, что мы можем представлять «длительность» только в форме «пространственных отношений»: смещение стрелки часов по циферблату, сдвиг тени от солнца по земле, график в декартовой системе координат и т.п. Вследствие чего, описывая «время» («длительность» или «процессуальность»), мы подменяем его теми «пространственными представлениями», которые используем для образного представления и понятийного описания времени как «длительности». Но пространственность окружающего мира суть тоже продукт психического отражения, причем тоже в разных формах его опосредования [12].

Так, в рамках классической психологии (структурализм В. Вундта [3] и др.) постулируется абсолютный характер пространства (т.е. независимость его свойств от объектов, его заполняющих). В гештальтпсихологии, напротив, постулируется относительный характер пространства (т.е. зависимость его свойств от объектов, его заполняющих). В экологическом подходе Дж. Гибсона [5] постулируется непосредственная данность окружающего пространства как среды обитания, воспринимаемые свойства которого зависят от способа жизнедеятельности субъекта восприятия. В концепции оперативности психического отражения Д.А. Ошанина [9] пространственные свойства объекта восприятия функционально обусловлены предметным действием, вследствие чего происходит их функциональная деформация.

ПАРАДИГМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ И ЕГО ОПОСРЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ

В итоге становится понятно, что вопрос о «процессе восприятия времени» как объекте исследования непосредственным образом зависит от того, какой смысл вкладывает исследователь (его мышление) в понятие пространственности и тем

самым в понятия времени и движения, что формирует соответствующую парадигму исследовательского мышления. Исходя из этого, можно выделить, по крайней мере, три такие парадигмы понимания времени [12].

Онтологическая парадигма, когда мышление человека не отягощено рассуждениями и рефлексией того, что есть пространство и время как реальности, требующие восприятия, осмысления и познания. Бытие времени и человек как субъект бытия времени онтологически (в своем собственном бытии) совпадают друг с другом и потому в познавательном (гносеологическом) смысле «время» не существуют.

Физикально-абсолютная парадигма мышления, когда пространство и время мыслятся как самостоятельные и даже обособленные друг от друга формы бытия. Они мыслятся как своеобразные абсолютные вместилища, в которых: (а) находятся тела (живые и неживые объекты разного масштаба) и, соответственно, происходят те или иные события, и (б) свойства которых не зависят от свойств объектов (событий), их заполняющих, а также и от свойств субъекта-наблюдателя. Бытие времени здесь абстрагировано от бытия пространства и от реального бытия субъекта-наблюдателя и не зависит от последнего. В предельной форме эта парадигма нашла свое выражение: в апориях Зенона, в геометрии Евклида, в классической физике Ньютона, в философии Нового времени и позже — от «правил для ума» Декарта до постулирования Кантом пространства и времени в качестве априорных категорий нашего мышления. Наконец, в психологии — в классической психологии [3 и др.] и их современных вариациях [14 и др.].

Физикально-относительная парадигма, когда пространство и время представляются как реальности, которые физически (в данном случае — объективно) не существуют раздельно друг от друга, а, напротив, образуют единую форму бытия, некий «континуум». Причем пространственно-временные свойства этого континуума существенным образом зависят от гравитационных, динамических и тому подобных свойств заполняющих их объектов и (!) от скорости движения субъекта-наблюдателя. В микро- и мегамасштабах пространство-время бытия характеризуется криволинейностью, в пределе доходящей до спиралевидности. В дополнение к линейным взаимодействиям (предмет и исходная предпосылка классической физики) приходит представление о полевых взаимодействиях. Как известно, этот способ мышления восходит корнями к теории относительности Эйнштейна. Принципиально, что именно здесь открылась ограниченность человеческого восприятия и мышления для познания пространственно-временных свойств бытия, что нашло выражение в разного рода физических парадоксах и появлении принципов неопределенности, дополнительности и эффекта наблюдения [2, 4 и др.]. В психологии такое понимание пространства и времени послужило парадигмальным основанием гештальтпсихологии [15 и др.].

Несмотря на различие двух последних парадигм в понимании времени, они имеют общую методологическую предпосылку — в качестве исходных эмпирических оснований способа мышления принимаются пространственно-временные свойства окружающего мира, выраженные в продуктах их непосредственного вос-

приятия. Вследствие чего они (в первую очередь, пространство, время, движение) представлены в нашем мышлении по отдельности друг от друга, абстрагированные от процесса их порождения в перцептивном акте и опосредованные мыслительным уровнем их анализа.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ДВИЖЕНИЯ

При этом возникает вопрос: а можно ли сделать предметом исследования собственно процессуальную сторону порождения восприятия пространства, времени и движения, не используя в качестве исходных предпосылок эмпирические данные и теоретические предпосылки, основанные на феноменологической данности продуктов уже свершившихся психических актов или построенных на них теоретических представлений и понятий?

Именно этот вопрос послужил причиной разработки А.И. Миракьяном [7, 8] трансцендентальной парадигмы психологии восприятия. Согласно этой парадигме, восприятие и психическое отражение в целом должны рассматриваться как природная форма бытия, возможность порождения которой обеспечивается принципами формопорождения (самопорождения-самосохранения-саморазрушения) и структурно-процессуальной анизотропности (по выражению Миракьяна: «единости, содержащей в себе различие»). Образование структурных анизотропных отношений происходит между элементами рецепирующего поля данного органа чувств (например, между рецепторами сетчатки глаза). Процессуальные анизотропные отношения образуются между последующим и предшествующим дискретными формопорождающими актами (микро- и макро-) психического процесса. Причем предшествующий акт выполняет по отношению к последующему своеобразную антиципирующую роль.

Эти принципы имеют трансцендентальный характер по отношению к процессам восприятия, ибо они обуславливают как возможность порождения разнообразных форм материи, так и возможность возникновения психического отражения на определенной ступени ее саморазвития, причем независимо от модальности отражающей системы. Примером воплощения принципа структурно-процессуальной анизотропности в живых системах служит структурная симметрия и одновременно функциональная асимметрия работы парных органов чувств у человека и других биологических видов живых существ.

С точки зрения этой парадигмы, порождение пространственности происходит следующим образом. Первоначально порождается как идентичная самой себе последовательность сосуществующих (завершенных и незавершенных) формопорождающих микроактов, выражающих процессуальное состояние самой отражательной системы. Это состояние затем становится ее свойством, антиципирующим дальнейшее осуществление формопорождающего процесса. Начавшись, формопорождающий акт «стремится» к своему естественному завершению. Поэтому он имеет свою длительность, которая начинает выступать в качестве единицы дискретности (квантования) непосредственно-чувственного процесса восприятия на фор-

мопорождающие акты и, тем самым, выступать в качестве непосредственно-чувственной основы порождения ощущения длительности [1]. Чем более незавершенными оказываются сменяющие друг друга формопорождающие микроакты, тем менее четкой (смазанной) воспринимается форма движущегося объекта и тем более быстрым воспринимается его движение. Это означает, что последовательность сосуществующих (завершенных и незавершенных) формопорождающих микроактов выступает непосредственно-чувственной основой для порождения и пространственности (пространства и пространственной формы), и скорости движущегося объекта, и длительности (времени) его восприятия [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге можно сказать, что, несмотря на явные различия между физикой и психологией как разными научными дисциплинами, в методологическом плане их объединяет общность методологических поисков, необходимых для понимания пространства, времени и движения как разных сторон единого бытия и как разных понятий, опосредствующих наше восприятие и мышление.

В перспективе, сдвиг в сторону трансцендентальной парадигмы должен привести к своеобразной методологической инверсии. Вместо переноса физикальных методов научного познания на изучение психики (и соответствующую редукцию психического к тем или иным формам бытия) должен будет произойти методологический перенос принципов изучения и формопорождения психической реальности на изучение других видов реальностей природного бытия, например, реальностей микромира и мегамира (физика), а также растительной и животной форм жизни (биология).

© Панов В.И., 2017

ЛИТЕРАТУРА

- [1] А.И. Миракян и современная психология восприятия: сборник материалов научной конференции (30 ноября — 1 декабря 2010 г.) / Под общ. ред. Н.Л. Мориной, В.И. Панова, Г.В. Шуковой. М.: УРАО «Психологический институт»; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2010.
- [2] Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Издательство иностранной литературы, 1961.
- [3] Вундт В. Основы физиологической психологии. СПб., 1912. Т. 2.
- [4] Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики: Пер. с англ. и предисл. ко 2-му изд. Н.Ф. Овчинникова. М.: УРСС, 2004.
- [5] Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988.
- [6] Зенон // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М.: Наука, 1989. С. 298—314.
- [7] Миракян А.И. Контуры трансцендентальной психологии. Книга 1. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 1999.
- [8] Миракян А.И. Контуры трансцендентальной психологии. Книга 2. М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2004.
- [9] Ошанин Д.А. Предметное действие и оперативный образ. М. — Воронеж, 1998.
- [10] Павленко А.Н. «Пространство времени» (SoT) или «время пространства» (ToS): комментарий на модель времени Г. фон Вригта // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2017. Т. 21. № 2. С. 179—191.

- [11] Панов В.И. Непосредственно-чувственный уровень восприятия движения и стабильности объектов // Вопросы психологии. 1998. № 2. С. 82—107.
- [12] Панов В.И. Парадоксы изучения психики и возможность их преодоления // Национальный психологический журнал. 2011. № 1(5). С. 50—54.
- [13] Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук // XXVIII Международный психологический конгресс. М., 1966.
- [14] Рок И. Введение в зрительное восприятие. М.: Педагогика, 1980.
- [15] Wertheimer M. *Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie*. Erlangen: Verlag Philosoph. Acad., 1925.

Для цитирования:

Панов В.И. Пространство, время и движение — парадигмальные сдвиги // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2017. Т. 21. № 4. С. 572—581. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-572-581.

Сведения об авторе:

Панов Виктор Иванович — доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заведующий лабораторией эконпсихологии развития и психодидактики ФГБНУ «Психологический институт РАО» (e-mail: ecovip@mail.ru)

For citation:

Panov, V.I. Space, Time and Motion — Paradigm Shifts. *RUDN Journal of Philosophy*. 2017; 21 (4): 572—581. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-572-581.

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-572-581

SPACE, TIME AND MOTION — PARADIGM SHIFTS

V.I. Panov

FGBNU «Psychological Institute of Russian Academy of Education»
9, building 4, Mokhovaya Str., 125009, Moscow, Russian Federation

Abstract. The paper shows the influence of physical concepts of space, time and motion on psychological research of perception. The data of the experimental study of the formation of the concepts of time and speed, conducted by J. Piaget at the request of A. Einstein, are given. Ontological, physical-absolute and physical-relative paradigms of the notion of time are designated. The example of Zeno's aporias shows the methodological limitations of the epistemological paradigm in the psychology of perception. It is asserted that human thinking is not capable of direct interpretation of time, since the idea of duration is mediated in our thinking by representations of spatiality. As an alternative to the epistemological paradigm, the principles of the transcendental paradigm of the psychology of perception of A.I. Mirakyan are expounded: form-generation and structural-procedural anisotropy. As an example of the implementation of these principles, a description of the generation of spatiality and duration at the sensory level of perception is given. The conclusion is made that in the methodological plan, psychology and physics are united by the common methodological search necessary for understanding space, time and motion. In the long term, there must be a paradigm shift: from the epistemological paradigm towards the ontological paradigm, and also from the priority of physical representations towards the psychological notions of space and time.

Key words: space, time, movement, physical representations, psychology of perception, paradigm, transcendental psychology of perception, form-generating process

REFERENCES

- [1] A.I. Mirakyan *i sovremennaya psikhologiya vospriyatiya: sbornik materialov nauchnoi konferentsii (30 noyabrya — 1 dekabrya 2010 g.)*. Morina NL, Panov VI, Shukova GV, editors. Moscow: URAO «Psikhologicheskii institut»; Obninsk: IG-SOTsIN; 2010. (In Russ.)
- [2] Bor N. *Atomnaya fizika i chelovecheskoe poznanie*. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoi literatury; 1961. (In Russ.)
- [3] Vundt V. *Osnovy fiziologicheskoi psikhologii*. Vol. 2. Saint Petersburg; 1912. (In Russ.)
- [4] Geizenberg V. *Filosofskie problemy atomnoi fiziki*. Per. s angl. i predisl. ko 2-mu izd. Ovchinnikova NF. Moscow: URSS; 2004. (In Russ.)
- [5] Gibson Dzh. *Ekologicheskii podkhod k zritel'nomu vospriyatiyu*. Moscow: Progress; 1988. (In Russ.)
- [6] Zenon. In: *Fragmenty rannikh grecheskikh filosofov*. Vol. 1. Moscow: Nauka; 1989. p. 298—314. (In Russ.)
- [7] Mirakyan AI. *Kontury transtsendental'noi psikhologii*. Book 1. Moscow: Izdatel'stvo «Institut psikhologii RAN»; 1999. (In Russ.)
- [8] Mirakyan AI. *Kontury transtsendental'noi psikhologii*. Book 2. Moscow: Izdatel'stvo «Institut psikhologii RAN»; 2004. (In Russ.)
- [9] Oshanin DA. *Predmetnoe deistvie i operativnyi obraz*. Moscow — Voronezh; 1998. (In Russ.)
- [10] Pavlenko AN. «Prostranstvo vremeni» (SoT) ili «vremya prostranstva» (ToS): komentarii na model' vremeni G. fon Vrigta. *RUDN Journal of Philosophy*. 2017;21(2):179—191. (In Russ.)
- [11] Panov VI. Neposredstvenno-chuvstvennyi uroven' vospriyatiya dvizheniya i stabil'nosti ob"ektov. *Voprosy Psikhologii*. 1998;(2):82—107. (In Russ.)
- [12] Panov VI. Paradoksy izucheniya psikhiki i vozmozhnost' ikh preodoleniya. *Natsional'nyi psikhologicheskii zhurnal*. 2011;1(5):50—54. (In Russ.)
- [13] Piazhe Zh. Psikhologiya, mezhdistsiplinarnye svyazi i sistema nauk. In: *XXVIII Mezhdunarodnyi psikhologicheskii kongress*. Moscow; 1966. (In Russ.)
- [14] Rok I. *Vvedenie v zritel'noe vospriyatie*. Moscow: Pedagogika; 1980. (In Russ.)
- [15] Wertheimer M. *Drei Abhandlungen zur Gestaltheorie*. Erlangen: Verlag Philosoph. Acad.; 1925.



НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-582-591

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СМЕРТИ

Н.А. Борисов

Пензенский государственный университет
440026, Пенза, Россия, ул. Красная, д. 40

На основе феноменологической методологии предпринимается попытка создать модель анализа социальных представлений о смерти. В качестве основных объектов рассматриваются событие смерти как пространственное измерение данных представлений и образ смерти как их распространение во времени. Учитывая недостатки существующих моделей изучения отношения к смерти, предусмотрен анализ социальных аспектов религиозных и атеистических представлений о смерти, а социальные представления разделены на элитарные, массовые и маргинальные. Феноменологическое моделирование включает четыре этапа, каждый из которых располагает своим методом. В результате предложена модель, позволяющая прояснить не просто отношение к смерти на определенном историческом отрезке, а социальное как таковое во времени и пространстве различных эпох, настоящей жизни и будущего взаимодействия.

Ключевые слова: смерть, социальные представления, событие смерти, образ смерти, феноменология, интенция, ноэма, ноэзис

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Смерть — это сложный и неоднозначный объект для анализа. Являясь отсутствующим предметом в нашем опыте, она не может в нем присутствовать. Мы не можем ни вообразить, ни вспомнить, ни воспринять смерть, сделав ее частью нашего опыта. В таком случае нельзя говорить и о результате исследовательской деятельности. Знание смерти невозможно, поскольку, как говорил Эпикур, со смертью мы не встречаемся, ни будучи еще живыми, ни являясь уже мертвыми [1. С. 316]. Становление исключает смерть, которая для нас ничто. Недоступная прямому усмотрению и представлению, смерть не может приводить к знанию.

Первый аргумент, опровергающий возможность исследования смерти, состоит в отсутствии предмета представления, а второй — в невозможности получения знания об отсутствующем предмете. Последовательно рассмотрим каждый аргумент. Смерть не является ни природным, ни духовным предметом, поэтому случайно, что науки о природе и науки о духе не обращали на нее специального внимания. Наука может изучать только процесс умирания и бессильна при описании самой смерти или посмертного бытия. Мы находим многочисленные косвенные упоминания о смерти, но ни одно исследование прошлого не было целиком посвящено ей. Значит ли это, что у нас есть основания считать смерть беспредметным представлением, которое вообще не поддается научному анализу?

Б. Больцано рассматривает беспредметное представление на примере «ничто» и говорит, что мы можем мыслить ничто; направленность мышления будет иметь свою материю, но предмет будет оставаться пустым [2. С. 96]. Получается, что мыслить смерть возможно, но в этом акте мышления не будет предмета и содержания, относящегося собственно к смерти. Смерть аналогична частице «не», которая изменяет содержание того, что она отрицает, но бессмысленна сама по себе в отрыве от предмета отрицания. С другой стороны, направленность, отрицающая жизнь, — это активность сознания, которое путем отрицания жизненного содержания отдельного человека заставляет переосмыслить свое место в мире. Интенциональность смерти предусматривает ее обозначение в качестве события, поскольку сознание, будучи направленным на предмет, вкладывает в него определенное значение.

Представление как таковое возможно лишь ввиду отсутствия предмета в условиях непосредственной данности. Э. Гуссерль рассуждает, что если нечто представляется, то воспроизводится образ в памяти (воспоминание) или воспринимается, но лишь посредством иного предмета (изображения) [3. С. 465]. Деятельность сознания, представляющего смерть, целиком направлена на синтез имеющихся ресурсов воображения и воспоминаний. Мы представляем себе что-то, когда нет возможности непосредственного восприятия, и знать предмет мы можем лишь посредством его заместителя. И все же, будучи не воспринятой, смерть не может ни содержаться в нашей памяти, ни служить материалом для воображения. Направленность сознания на тот или иной объект предусматривает определенное содержание и предмет представления, поскольку сознание обязательно на что-то направлено. Э. Гуссерль настаивает, что сознание по своей природе интенционально, но сама интенциональность не предполагает существования, поскольку интенциональные объекты — это не объекты существования [4. С. 37—40].

Реальность смерти образуется за счет приобретения ею статуса события, в котором нам рано или поздно приходится участвовать, теряя близких нам людей. Но в сущности оказывается неважным, есть предмет в реальности или его нет. Интенциональный акт отсутствия может конституировать особый феноменологический предмет исследования. Примером такого акта может служить переживание утраты как отсутствия телесной сопричастности и эмоционального отклика от значимого Другого. Безусловно, мертвое тело может существовать, но тело — не личность, поэтому у нас нет возможности судить о мертвом как о живом. В то же время в психологическом и социальном плане мы это делаем, продолжая бытие мертвого в наших собственных интенциональных актах воспоминания (реконструкция прошлого), воображения (эсхатологические сценарии) и восприятия (социальная, психологическая и культурная практика). Со смертью отдельного человека рождается законченная целостная история его жизни. Сама история будет иметь смысл только при условии того, что она имеет свой конец. Представления о смерти возможны и наполнены своим психологическим, культурным и социальным содержанием.

СМЕРТЬ КАК ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Если смерть может быть предметом наших представлений, то каковы наши притязания на обладание знанием о ней? Получается, что она может быть познана, даже не являясь частью нашего опыта, что верно лишь отчасти. М. Мерло-Понти утверждает, что тело, сопровождаемое постоянными ощущениями, есть конечное тело, где каждое ощущение рождается и погибает. Сама «ощутимость» позволяет заглядывать вперед субъекта как уже мертвого, приходя к идее анонимности смертей и рождений [5. С. 277].

Такое заглядывание вперед представляет собой интенциональный акт, который не просто выражает трюизмы («все смертны», «все когда-то умрем»), а дает возможность изучить деятельность сознания по конституированию смерти в пространстве, времени и социальной связи. Здесь мы можем говорить о существовании социальных представлений о смерти как продукта коллективного чувствования, конституирующего определенный коллективный образ, который отображает тенденции развития общества в границах конкретного государства, этноса, нации, класса и др. Смерть из проблемы нравственности переходит в область социальной онтологии. В качестве современного примера такого образа мы можем привести распространенный в Мексике и США религиозный культ Santa Muerte («Святая Смерть»), который выражает народные чаяния, традиционные и древние религиозные взгляды, потребности маргинальных групп в приобретении тех или иных выгод не путем духовной дисциплины, а простым «ритуалом откупа». Образ привлекательной девушки-скелета, которая прощает любые преступления и злодеяния, хорошо адаптирован к современной культуре, что представляет отдельный интерес для исследования вне задач этой статьи.

Изучая социальные представления о смерти, мы должны быть готовы пройти все этапы феноменологического моделирования этого сложного для изучения объекта. Каждый человек, исходя из своего личного опыта встреч со смертью других, участия в похоронных церемониях, переживания страха перед собственной смертью, оценкой своего жизненного сценария и других людей, может по-своему формировать образ смерти. Но такой образ всегда будет иметь отношение к «коллективной архитектонике», сводящей разрозненные индивидуальные чувства в единое композиционное целое, детерминирующее как общественное, так и индивидуальное развитие. Рассматривая разрозненные взгляды, мы всегда можем обнаружить повторяющиеся константы, служащие своеобразной структурой, на которую накладываются то или иное содержание.

М. Мерло-Понти отмечает, что осознание отсутствия ввиду утраты друга приходит, лишь когда мы понимаем, что наши вопросы, адресованные «еще не мертвому» в системе нашего восприятия, остаются без ответа, поскольку этот друг «уже мертв». Причем этот ответ переходит из состояния «еще возможного» в «уже невозможное». Надежда позволяет человеку вопрошать у мертвого, но только до момента осознания того факта, что смерть необратима. Если человек избегает этой «мучительной тишины» вопросов без ответов, чтобы не сталкиваться с памятью о смерти — *memento mori*, то на уровне социальных инстинктов он начи-

нает отворачивается от сторон жизни, в которых это столкновение неизбежно. Но ведь в данном случае это говорит в пользу знания отсутствия, от которого человек пытается сбежать [Там же. С. 117].

Общество зачастую поощряет такое бегство от смерти в область социального. Мы это видим в стремлении как можно быстрее построить человека, переживающего утрату близкого, обратно в систему общественных отношений. Смерть социализируется, представляя собой социально значимое событие и место встречи далеких родственников, что в большей степени и определяет свойства смерти как интенционального объекта.

Устоявшаяся на сегодня уверенность большинства исследователей-танатологов в том, что смерть изгнана из современного общества, нам представляется не совсем верной. Даже если люди не думают о смерти, то ее атмосфера присутствует так же неизбежно, как и она сама. Насколько бы сильно ни была табуирована смерть, ее сущность всегда проявляется на горизонте мышления. Безусловно, постоянное присутствие «виртуальной смерти» в новостях, кино, литературе сегодня в большей степени искажает представление о физической смерти, что как раз и выражается в социальных представлениях о ней.

ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЯ К СМЕРТИ

Первые результаты танатологических изысканий в социально-гуманитарных науках лежали исключительно в области отношения к смерти. Историческая наука с XX в. начинает все меньше проявлять интерес к событиям и больше — к ментальности — коллективным исторически устойчивым социально-психологическим установкам того или иного народа. Традиционное элитарное сознание в трактовке истории, при которой двигателем истории являются отдельные выдающиеся личности, уступает место «народной истории». Ставятся задачи — найти в народной среде символы смерти, отображенное в них понимание значения и роли смерти в общественной жизни и повседневности. Предмет психологического исследования распространяется на социально-историческую общность.

Повседневная жизнь темпоральна, а люди воспринимают время как непрерывное и конечное, что позволяет идентифицировать себя с человеческой общностью в целом. Жизнь человека, по выражению П. Рикера, — это часть объективного времени, которое было до рождения и продолжается после смерти отдельного человека. В связи с конечностью жизни планирование, то есть ориентация на будущее, приобретает свой смысл. Время — это способ ориентации в пространстве повседневной жизни [6. С. 50—51]. Сама возможность истории напрямую связана со смертью и становлением. Отсутствие истории знаменует собой и отсутствие смерти. То, что не имеет подлинной жизненной истории, не способно умереть.

В рамках нашей модели темпоральность смерти как ее история предполагает *связь прошлого, настоящего и будущего*. Такой подход противостоит традиционному сравнительно-историческому анализу, где сравниваются статичные исторические структуры. В рамках феноменологического исследования мы формируем *образ смерти в духе эпохи*. Этот образ отражает части временных отношений, ко-

торые протекают имманентно друг другу, что предполагает максимально возможное чувствование в эпоху, раскрывая в нем интенцию (образ) смерти.

Мы должны не просто изучать историческое прошлое, а погружаться в историю смерти. Ж. Ле Гофф анализировал смерть в пространстве общей истории, но не делал из смерти автономного предмета самостоятельно ценного [7]. Такое историческое исследование показательно для «негативной аксиологии», где проблема смерти рассматривается исключительно в нравственном смысле. Изучение феномена смерти происходит мимоходом и затрагивает скорее педагогические, чем собственно научные цели. «Модель нравственного отношения к смерти» подразумевает: 1) взятое за образец идеальное отношение к смерти, которое способствует гармоничному развитию исторической общности; 2) скопление символов смерти на различных этапах развития этой общности, что представляет наибольшую ценность в данной модели; 3) неизбежное разочарование в ценностях настоящего, что оказывается связанным с неправильным отношением к смерти современников. Результат исследования в данной модели предсказуем заранее, что и служит ее главным недостатком.

Наиболее известная модель принадлежит М. Вовелю. Положительная сторона его модели состоит в определении того, как различия в социально-экономических условиях коррелируют с символическими программами смерти. Смерть представляет собой «универсальный язык культуры» [8]. Историк делает вывод об особом положении смерти в истории, но уделяет внимание лишь средневековой истории, которая представляет образец отношения к смерти. Такая «экономическая модель» упускает из вида особенности каждой эпохи и концентрируется на экономических связях.

Иную модель создал Ф. Арьес; в ней смерть рассматривается как длительное и почти незаметное изменение в коллективных чувствах. Исходя из этой медленной прогрессии, мы можем назвать данную модель эволюционной, так как представления о смерти сменяют друг друга: «все умрем», «смерть своя», «смерть далекая и близкая», «смерть твоя», «смерть перевернутая» [9]. Здесь видна более четкая типизация и последовательное историческое моделирование ментальности. Главный недостаток модели — смешение элитарных взглядов с коллективными. Отношение к смерти у элиты берется за образцовое. Это приводит к тому, что исторический материал подбирается достаточно своевольно. Народное сознание впитывает в себя различные взгляды и идеи, перерабатывает и адаптирует для себя. В сущности, народ оказывается неспособным производить собственные смыслы в отношении к смерти, то есть иметь социальные представления о ней.

Учитывая недостатки этих моделей, мы считаем, что история смерти (ее образ в той или иной эпохе) должна изучаться в связи с событием смерти, которое не является простой эмпирической данностью. П. Рикер рассуждает, что смерть, будучи концом моего жизненного рассказа, входит в повествование тех, кто меня переживет. Устремленность к смерти исключает постижение конца повествования. История, заканчиваясь, постоянно продолжается. Событие смерти не является только эмпирической данностью. Описание смерти в литературном произведении, по его мнению, способно понижать уровень тревоги перед ничто, которая прибли-

жает смерть, надевая в воображении ее тем или иным контуром или формой. Благодаря этому вымыслу мы можем обучаться смерти [6. С. 195—197]. Анализ данного события как воображаемого будет не менее ценен в научном плане, чем простой эмпирический случай смерти, исторические описания и перечисления обстоятельств смерти.

Для получения наиболее достоверных результатов мы делим социальные представления на массовые, элитарные и маргинальные. Массовые, в отличие от элитарных, представлены в более простой интеллектуальной форме (чаще в виде причитаний, суеверий и т.п.), выражены в упрощенных религиозных ритуалах и гражданских практиках. Элитарные, в свою очередь, имеют достаточно сложную интеллектуальную форму, требующую высокого уровня образования, развития духовной составляющей в человеке. Маргинальные представления отличаются от первых двух тем, что претендуют на сверхэлитарность, актуально находясь на социальной периферии. При своем внедрении в общественную жизнь они сохраняют опасность социального взрыва или конфликта, то есть они всегда потенциально агрессивны. Примером таких взглядов могут служить различные секты тоталитарной направленности, поощряющие суицидальное поведение и формирующие привлекательный образ смерти. Массовые взгляды — это не простое упрощение элитарных, а взгляды, имеющие собственные онтологически значимые смыслы жизненного мира людей, — наравне с элитарными и маргинальными смыслами.

Данные представления имеют свои религиозные и атеистические аспекты. Причем религию и атеизм мы здесь трактуем предельно широко. Религиозные воззрения включают в себя собственно конфессиональное учение и связанную с ним ритуальную практику, спиритуализм, мистицизм, оккультизм и т.п. Такой широкий охват оправдан тем, что эти взгляды объединены верой в религиозную эсхатологию как посмертное существование души. Атеизм полностью основывается на социальной эсхатологии, которая подразумевает продолжение жизни умершего в памяти близких людей, памятниках жизненного пространства и предметах быта. Анализируются не религиозные нормы и атеистические позиции как таковые, а социальные аспекты их формирования, влияние на общественную жизнь.

ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СМЕРТИ

Социальные представления в наиболее общем смысле можно определить как совокупность общепринятых взглядов, разделяемых обществом в целом, а также отдельной социальной группой на тот или иной социальный объект в конкретных исторических условиях и жизненных обстоятельствах. В нашем случае таким объектом будет событие смерти и образ смерти, которые отражают единство пространства-времени общества.

Содержание социальных представлений о смерти образуют следующие компоненты:

1) устоявшиеся культурные детерминанты, определяющие формы «общения со смертью»: совокупность ритуальных и гражданских практик, культурные тра-

диции и нормы права, которые регулируют похоронный процесс, длительность траура, вид захоронения и др.;

2) способы психологического выражения эмоций и чувств, связанных со смертью: внутренняя оценка внешнего по отношению к сознанию события смерти, проявляющаяся в экспрессивности выражения чувства утраты, эмоциональном поведении и степени регуляции поведения;

3) социальная практика, отображающая внутреннюю динамику социальной группы, образовавшейся как следствие события смерти (в ситуации траура). Это событие влияет на социальное поведение, образование новых социальных качеств и смыслов социально-практической деятельности, как в рамках самого события смерти, так и за его пределами в различных сферах жизнедеятельности: трудовой, учебной, политической и др.

Помимо перечисленных объективно наблюдаемых компонентов необходимо изучение пространственно-временной структуры смерти, которая проявляется во времени — образе (истории) смерти и пространстве — событии смерти. Причем это не два различных объекта, а, пользуясь терминологией Э. Гуссерля, ноэма-ноэтическое единство, выраженное в социальных представлениях. Событие смерти, как имеющее прямое отношение к эмпирической действительности, — это ноэзис. Образ смерти — ноэма, которая выражает временные особенности (темпоральность) смерти. Ноэма и ноэзис соотносятся друг с другом как представляемое (как таковое) и то, что представляется. При анализе ноэмы не изучается эмпирическое содержание, но только сама данность объекта как представляемого [10. С. 282—283].

Соответственно, анализ социальных представлений о смерти можно проводить в несколько этапов. *Первый этап* состоит в максимально полном описании пространственных и временных параметров смерти, переживаний и связанных с нею форм социальной активности. Мы избегаем любого толкования или объяснения и стремимся к наиболее полной детализации конкретного примера. Причем он не обязательно должен иметь эмпирическое подтверждение, поэтому мы можем использовать как исторический, так и литературный пример смерти.

На *втором этапе* определяются интенциональные акты, лежащие в основе описанных данных. В этой исследовательской ситуации интересно не содержание переживаний, действий, а только их направленность и способ данности. Мы не анализируем реальную смерть в сопровождении предсмертной агонии или событие смерти, выраженное в социальных действиях, а пытаемся отыскать формы обозначения вот-сейчас-мертвого или там-тогда-мертвого в структуре представления. Конкретное эмпирическое содержание выступает здесь как пример из множества других, что подразумевает вариативность феноменологии социальных представлений о смерти, где мы уже говорим об «анонимной смерти».

Феноменологический метод *эпохе* на первом этапе позволяет нам вынести за скобки действительность (даже если мы имеем дело с воображаемой действительностью), которая не отрицается, а переходит в сферу значимости как таковую, образованную деятельностью сознания. Итогом второго этапа становится выявление ноэзиса и ноэмы с помощью *интенционального анализа*. Где ноэзис — событие смерти, а ноэма — образ смерти.

На *третьем этапе* дается герменевтическое толкование полученных в ходе интенционального анализа ноэма-ноэтических значений, формируются соответствующие выводы. Здесь мы пользуемся методом *герменевтического анализа*, который позволяет нам рассматривать событие смерти как текст, а образ смерти — как рассказ о ней. «Вчувствование» в текст позволяет проследить конституирующую функцию сознания в сфере формирования значений, таких как «смерть желанная», «отвращение к смерти» и др.

На *четвертом этапе* выводы от предыдущего этапа распространяются на связанную со смертью совокупность общественных явлений, процессов. Определяется влияние смерти на социальное становление, образование тех или иных форм социального взаимодействия как в контексте события смерти, так относительно общества в целом, различных его областей. Используется метод *экзистенциального анализа*, с помощью которого проясняется социальное во времени и пространстве предыдущих эпох, настоящей жизни и будущего взаимодействия. Существование, которое было вынесено за скобки на первом этапе, приобретает свою форму феноменологического осмысления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оставаясь в русле социальной философии и танатологии, мы должны отходить от категории отношения к смерти как доминирующей при раскрытии феномена смерти и его места в общественной жизни. Индивидуальный фактор в оценке отношения к смерти преувеличивается, а его типизация упускает из вида социальный контекст образования интенции смерти. Историки, рассматривая временной характер изменений отношения к смерти, зачастую не принимают во внимание социальный контекст таких изменений, представляющий собой не просто условие, а заметную часть исторического развития. Также можно встретить преувеличение социального аспекта, в отрыве от жизненной практики и жизненного мира людей. Смерть здесь изучается социологически как скопление социальных фактов без значимой аналитики.

Не стоит полагать, что объединение этих подходов будет способствовать получению целостного знания о смерти и способах ее выражения через социальные представления. Зачастую речь идет о гиперболизации того или иного аспекта, что имеет мало общего с самим объектом и много с исследователем, который желает видеть объект именно таким образом. В то время как необходимо исходить из бытия самого предмета и возможности его со-бытия с другими предметами. Только таким образом и возможно создание социальной онтологии смерти. Поэтому наша модель анализа социальных представлений в качестве исходного рассматривает событие и образ смерти.

Социальные представления о смерти мы склонны рассматривать по пяти параметрам. Первый — как часть «скорбных ритуалов», определяющих форму образования события смерти, способы взаимодействия людей друг с другом и развитие определенного типа солидарности вокруг смерти. Второй — как часть общественного сознания, осуществляющего свое влияние на формирование различных культурных, политических и др. дискурсов, образа человека и его деятельности-в-мире. Третий — как часть социальной воли, устанавливающий границы свободы чело-

века, его способности распоряжаться своей смертью, развитие права в направлении расширения или подавления свободы. Четвертый — как часть отношения общества к телу, телесному и сексуальности, влечения к запретному: табуирование и растабуирование. Пятый — как часть религиозного и атеистического мышления, которые вносят свои коррективы в процесс принятия и осмысления смерти. Символический язык религиозной эсхатологии во многом носит компенсаторную функцию, когда социального опыта физической смерти становится явно недостаточно для осмысления события смерти.

Социальные представления о смерти — это динамическая характеристика жизни и утверждение ее различных феноменов, закрепление в индивидуальном и общественном сознании образов, знаний, чувств, вызванных событием или дискурсом смерти. Как смерть влияет на жизнь, так и жизнь способна влиять на смерть. Нам остается выявить способы и степень подобных влияний, а также возможность их регулирования. То, как негация смерти распространяется на сферу общественных отношений, позволяет нам глубже понять основы общественной жизни, формы прошлого, настоящего и будущего развития общества.

© Борисов Н.А., 2017

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Этикур*. Письмо к Менекею // Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Худож. лит., 1983. С. 315—319.
- [2] *Больцано Б.* Учение о науке. СПб.: Наука, 2003.
- [3] *Гуссерль Э.* Логические исследования: Том 2. Часть 1. Исследования по феноменологии и теории познания. М.: Гнозис, 2001.
- [4] *Гуссерль Э.* Интенциональные предметы // Гуссерль Э. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. С. 31—74.
- [5] *Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, 1999.
- [6] *Рикер П.* Я-сам как другой. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008.
- [7] *Le Goff J.* La Naissance du Purgatoire. P.: Gallimard, 1981.
- [8] *Vovelle M.* La mort et l'Occident de 1300 à nos jours. P.: Gallimard, 1983.
- [9] *Aries Ph.* L'homme devant la mort. P.: Editions du Seuil, 1977.
- [10] *Гуссерль Э.* Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Академический Проект, 2009.

Для цитирования:

Борисов Н.А. Феноменологическая модель анализа социальных представлений о смерти // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2017. Т. 21. № 4. С. 582—591. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-582-591.

Сведения об авторе:

Борисов Николай Андреевич — аспирант кафедры теории и практики социальной работы Пензенского государственного университета (e-mail: borisovnik7@yandex.ru)

For citation:

Borisov, N.A. A Phenomenological Model for Analysis of Social Representations of Death. *RUDN Journal of Philosophy*. 2017; 21 (4): 582—591. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-582-591.

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-582-591

A PHENOMENOLOGICAL MODEL FOR ANALYSIS OF SOCIAL REPRESENTATIONS OF DEATH

N.A. Borisov

Penza State University
40, Krasnaya str., 440026, Penza, Russian Federation

Abstract. The author makes an attempt to create a model for analysis of social representations of death based on phenomenological methodology. The main objects of analysis are the event of death as a spatial dimension of the representations and the image of death as their extension in time. Taking into account the shortcomings of existing models in the study of attitudes to death, the new model provides an analysis of the social aspects of religious and atheistic representations of death. The social representations are divided into elitist, mass and marginal. Phenomenological modeling includes four stages along with special method for each one. Consequently, the proposed model allows to understand both the attitudes to death at a certain historical period and social as such in a time and space of previous historical epochs, of the present life and of future interactions.

Key words: death, social representations, the event of death, the image of death, phenomenology, intention, noema, noesis

REFERENCES

- [1] Epikur. Pis'mo k Menekeyu. In: Tit Lukretsiy Kar. *O prirode veshchei*. Moscow: Khudozh. lit.; 1983. p. 315—319. (In Russ.)
- [2] Bol'tsano B. *Uchenie o nauke*. Saint Petersburg: Nauka; 2003. (In Russ.)
- [3] Gusserl' E. *Logicheskie issledovaniya: Vol 2. Part 1. Issledovaniya po fenomenologii i teorii poznaniya*. Moscow: Gnozis; 2001. (In Russ.)
- [4] Gusserl' E. Intentsional'nye predmety. In: Gusserl' E. *Izbrannye raboty*. Moscow: Territoriya budushchego; 2005. p. 31—74. (In Russ.)
- [5] Merlo-Ponti M. *Fenomenologiya vospriyatiya*. Saint Petersburg: Yuventa; 1999. (In Russ.)
- [6] Riker P. *Ya-sam kak drugoi*. Moscow: Izdatel'stvo gumanitarnoi literatury; 2008. (In Russ.)
- [7] Le Goff J. *La Naissance du Purgatoire*. Paris: Gallimard; 1981.
- [8] Vovelle M. *La mort et l'Occident de 1300 à nos jours*. Paris: Gallimard; 1983.
- [9] Aries Ph. *L'homme devant la mort*. Paris: Editions du Seuil; 1977.
- [10] Gusserl' E. *Idei k chistoi fenomenologii i fenomenologicheskoi filosofii*. Moscow: Akademicheskii Proekt; 2009. (In Russ.)



DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-592-601

ЗНАЧЕНИЕ ДИСТИНКЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ И ФАНТАЗИИ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ: ФИЛОСОФИЯ РОДЖЕРА СКРУТОНА

Н.С. Глазков

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, Москва, Россия, ул. Мясницкая, д. 20

Автор статьи обращает внимание на связь консерватизма и эстетики как философской дисциплины, объясняет природу и смысл этой связи. Утверждается, что эстетическое различие воображения и фантазии, акцентированное С.Т. Кольридом, является инструментом критики и самокритики на службе у консервативной идеологии. С консервативной точки зрения, воображение считается творческой, тогда как фантазия — пассивной способностью, находящейся в зависимости от аффектов. По этой причине последняя потворствует утопическому мышлению, которое рассматривается как прожектерство. Поясняется, что указанное различие логично вписывается в рамки консервативной эпистемологии в ее версии, представленной у Д. Юма. Его применение рассматривается на материале работ британского консерватора Роджера Скрутона: «Польза пессимизма и опасность ложной надежды», «Современная культура» и последней редакции книги «Мыслители новых левых». Указывается, что в рамках консервативного дискурса различие имеет не только критический, но и творческий аспект.

Ключевые слова: консерватизм, эстетика, фантазия, воображение, эпистемология консерватизма, Роджер Скрутон

Роджер Скрутон — хорошо известный в англоговорящем мире консерватор и эстетик. Он является автором более 40 книг, посвященных политике и культуре, среди которых как публицистические, так и философские исследования. Его публицистика отличается резкостью, смягчаемой, впрочем, остроумием, а собственно философский метод вдохновлен аналитической традицией с ее идеей о «семантической гигиене» [1. Р. 2]. Это даже позволило сказать одному из критиков, что есть два Скрутона: «Первый готовит едкие филиппики в адрес левых для The Times. Второй — беспристрастный скептический анализ эстетики, культуры и политики, ...из которого и левым есть что почерпнуть» [2. Р. 31].

Однако больший исследовательский интерес вызывает совмещение консерватизма и эстетики в поле внимания Скрутона, в чем он продолжает традицию известных консерваторов от Э. Берка до Р.Дж. Коллингвуда и Т.С. Элиота. И хотя факт такого совмещения лежит на поверхности, его оказывается не так просто объяснить. По крайней мере, не стоит думать, что интерес к вопросам эстетики является своего рода необходимой чертой консервативного аристократизма; он имеет сущностный смысл. Разрешение затруднения позволяет дать ретроспективный анализ взаимосвязи консерватизма и эстетики как философской дисциплины, проведенный в эпистемологическом ракурсе. Направление анализа, его контуры, будут

намечены в первой части настоящей статьи. Исходя из изложенного здесь, читатель сможет получить представление о смысле связи консерватизма и эстетики. Далее — во второй части — более подробно, на примере одного из текстов Роджера Скрутона, будет продемонстрировано, какого рода психологический эмпиризм легитимирует значение эстетики для консервативной идеологии. И затем — в третьей части работы — будут приведены примеры того, как Роджер Скрутон использует понятийный аппарат эстетики для критического анализа явлений культуры.

I

«Романтики были полны восхищения перед церковью, средневековьем, дворянством — нечто в их собственных мечтаниях делало им эти явления близкими. Искали в них компенсации за свои трудности. Отношение романтиков к идеалу никогда не основывается на интенсивных исследованиях. Идя следом за мечтой, они едва касаются поверхности», — так пишет Карл Мангейм, рассуждая о формировании теоретического ядра консервативной мысли из амальгамы романтизма и реакции [3. С. 139]. Возникает впечатление, что она не способна была породить что-то большее, чем специфический тип консервативного воображения, удаляющего его субъекта в мир грез.

В своем подходе Мангейм не одинок — существует устоявшееся представление об авторах, «прибегающих к воображению для того, чтобы затушевать реалии жизни и отрицать необходимость в общественных изменениях» [4. Р. 85]. За образом таких консервативных авторов, грезящих наяву, скрывается, как правило, обобщенное представление о немецких романтиках XVIII—XIX веков.

Между тем обсуждаемая опасность была отрефлексирована уже на заре консерватизма и, более того, сам консерватизм в лице его родоначальников всегда преследовал именно трезвость мышления. Как справедливо отмечал Мангейм, «Германия сделала для идеологии консерватизма то, что Франция сделала для Просвещения — использовала ее до логического предела». Однако и то и другое зародилось в Великобритании, существуя там в умеренных формах [5. С. 131]. Неслучайно поэтому, что именно в британском консерватизме мы и обнаруживаем механизм консервативной критики и самокритики, который призван противостоять бегству от реальности, свойственному немецкому консервативному романтизму. Мы находим его тесно связанным с развитием эстетической теории в XVIII веке, у фигуры, относимой одновременно к школам консервативной и эстетической мысли, а именно у С.Т. Кольриджа. Он был выражен последним как принцип различения воображения и фантазии в работе *Biographia Literaria* [6. С. 87—97]. Несмотря на то, что в трудах Кольриджа это его упоминание было единственным, оно не только не забывалось самим автором, что отдельно обсуждается в специальной литературе [7], но и не затерялось бесследно в истории консервативной и эстетической мысли [8—10]. В специфических формах и контекстах его обсуждение можно встретить и у более современных авторов: у Р. Дж. Коллигвуда, у Т.С. Элиота, а в XXI веке — у британского консерватора Роджера Скрутона.

Его смысл состоит в том, что воображение может выступать как инструментом творческого познания, так и пассивным мечтанием, т.е. в качестве фантазии. В этом своем последнем качестве оно проблематично и должно вызывать к себе настроенное отношение, но задача консерватизма в том и состоит, чтобы пресекать фантазию. Вызывает удивление, что именно этот аспект связи консерватизма и эстетики зачастую упускается как критиками консерватизма, так и теми, кто пытается оправдать его перед лицом критики. Первые экстраполируют представление о романтизме немецких консерваторов на весь консерватизм. Вторые, не отвечая по существу критики — то есть на тот довод, что консерваторы — это праздные мечтатели — отбиваются ссылками на роль эстетики как инструмента воспитания. Даже автор исследования о С.Т. Кольридже [7], защищая консервативное воображение как присущее любому серьезному консерватизму, акцентирует не смысл знаменитой дистинкции Кольриджа самой по себе, а значение воображения то для воспитания, то для религиозной сферы, где только оно и сможет способствовать гармоничному развитию когнитивных способностей человека — своего рода цели в себе (1).

О политическом значении эстетического воспитания учил еще Платон, отмечавший устами Сократа, что «уродство, неритмичность, дисгармония — близкие родственники злоречия и злонравия», недопустимые в государстве. В XVIII веке эту мысль развивает, в частности, Д. Юм, указывая на влияние эстетического воспитания на поведение: «развитый вкус в изящных искусствах подавляет аффекты и вызывает у нас безразличие к тем объектам, к которым с таким пристрастием относятся все остальные люди». Тем не менее подобные параллели составляют отдельный сюжет в рамках темы о связи консерватизма и эстетики.

Можно утверждать, что внимание к воображению в качестве черты консервативной рефлексии в полной мере отвечает характерному для консерватизма взгляду на природу человека и соответствующей ему эпистемологии. Согласно влиятельной версии последней, изложенной Д. Юмом, воображение, наряду с памятью, является образующей силой познания. Между тем даже в таком качестве оно зависимо от аффектов. Как пишет Д. Юм: «там, где разбужены аффекты, нет места для свободного воображения» [Цит. по: 11. С. 102]. Различение воображения и фантазии и возникает из попытки рефлексии аффективной стороны воображения. Тот факт, что дальше аффектов анализ пойти не может, определяет форму его результатов — набор поведенческих диспозиций, подпитывающих приверженность определенным модусам воображения. Разумеется, интеллектуализм в познании и объяснении человеческих поступков встречает скептическое отношение. Его место занимает психологический эмпиризм [11. С. 147]. Яркие примеры применения этого метода содержатся, например, в «записной книжке» Э. Берка, где обсуждаются, в частности, психологические портреты «джентльмена» и «мудрого» человека [12. С. 201—224], некоторые эссе Д. Юма (2), или, наконец, обращаясь к характеру рационалиста — знаменитое эссе М. Оукшотта «Рационализм в политике». Продолжая эту традицию в XXI веке, Р. Скрутон сближает описание рационалиста и оптимиста, «равнодушного к истине» [14. Р. 48]. Это равнодушие

проявляется в склонности к самообману, поскольку за логически безупречными рассуждениями скрывается утопия. Последнюю следует понимать как фантазию, т.е. нереальный объект реального желания, как Скрутон определяет ее в книге «Современная культура», противопоставляя в то же время воображению [10. Р. 55—67].

II

Прежде чем привести некоторые примеры использования различия между фантазией и воображением, следует выяснить, с какого рода самообманом связано «равнодушие к истине» [14. Р. 48]. Ответ на этот вопрос сам по себе задает тему отдельного сочинения Скрутона: «Польза пессимизма и опасность ложной надежды». Любопытно, что «равнодушие к истине» определяется Скрутоном не как нарушение законов мышления, а через набор диспозиций, находящихся за пределами рассудочного контроля, в эмоциональной сфере. Таким образом, равнодушные к истине является чертой эмоционального склада, и повлиять на него можно только на том уровне, где оно возникает, т.е. на уровне психики. Содержательно речь идет о психологических установках, подпитывающих слабость к самообману. Рядящийся в одежды утопии, он и становится мишенью консервативной критики либерализма, социализма и постмодернизма. В свою очередь, укорененность утопического элемента в сфере психики оказывается фактором, объясняющим жизнестойкость утопии как явления политической жизни, несмотря на печальные преломления этого явления в современности.

Критика Скрутона разворачивается через противопоставление оптимизма утопии консервативному «пессимизму». Следует, однако, сказать, что, вопреки названию, в самой книге речь идет не о пессимизме, а об умеренном оптимизме, который противопоставляется оптимизму огульному (*unscrupulous*).

Если осторожный оптимист не теряет «связи с реальностью» (хотя его и может преследовать соблазн), то оптимист неумеренный «оторван от реальности», живет в мире «податливых иллюзий». «Уход от реальности» — это метафора самообмана. Между «обретением реальности» и «уходом от нее» — разные его степени. Установка на жизнь «в реальности» поддерживается рефлексией, тогда как самообман сопряжен с отказом от нее. Но этот отказ, конечно, не осознан. Поскольку ошибки оптимиста лежат не на рациональном уровне, а на уровне психологической установки, он не чувствителен к рациональным аргументам. Аргументация оппонента на него не действует, а его собственная служит, скорее, риторическим обрамлением заранее известных «выводов». «Ошибки столь очевидны, что сложно представить, что кто-то будет их совершать. Дело, однако, в том, что мы имеем дело не с локальными ошибками в рассуждениях, но со складом ума, равнодушным к истине» [Там же. Р. 48].

По мнению Скрутона, самообман подпитывается несколькими установками, напоминающими аффекты, это: 1) вера в счастливый случай, 2) вера в то, что мы рождены свободными, 3) вера в утопию, 4) вера в то, что наши взаимодействия есть игры с нулевой суммой, 5) вера в план, 6) вера в дух времени и 7) вера в то, что можно добиться сразу нескольких несовместимых благ (например, свободы,

равенства и братства). Все это — движущие силы самообмана, которые включают и способы самозащиты от критики — более или менее агрессивные.

Подробное изложение каждой из ошибок сейчас для нас не столь важно. Значение имеет то, что уже в приведенном перечне можно обнаружить намеки на определенные идеологии и социальные теории, имевшие место в прошлом. Таким образом, предполагается, что некоторые аффекты крепко связаны с отдельными теориями и идеологиями. То же промежуточное звено, которое обеспечивает их создание, есть какая-то пассивная, нерелексивная сторона психики. Но, как мы помним, такой пассивной стороной С.Т. Кольридж считал фантазию. У Скрутона она фактически и выступает как самообман.

Утопия — это, таким образом, плод фантазии. Она подкрепляет ложную надежду специфическим видением будущего, в котором все проблемы решены. При этом ключевым свойством утопии Скрутон называет иммунитет к опровержению. Казалось бы, в случае утопии вопрос об опровержении вообще не может быть поставлен, ведь по определению утопия — это вымысел. Дело, однако, в том, что субъект утопического сознания как раз не склонен рассуждать таким образом. Он принимает утопию не вопреки ее абсурдности, а именно благодаря ей, противопоставляя себя действительности. Скрутон приводит примеры современных утопий и имена их авторов, употребляя понятие утопии как полемическое оружие. Любопытно, что понятия утопии как специфического литературного жанра, представленного, допустим, Т. Мором или Ф. Бэконом, он не касается. Этим подчеркивается, что утопическое сознание не идентифицирует себя как таковое.

В свете изложенного утопия предстает недугом, требующим лечения, пусть и таким горьким средством как доля пессимизма. Между тем анализ утопии слева, и в частности, у Фредерика Джеймисона, претендует на более комплексное видение феномена, оставляющее даже место для его апологии. Так, с одной стороны, Джеймисон воспроизводит мотив критики, прослеживаемый и у Скрутона: «Политика, направленная на радикальное преобразование действующей системы, должна быть названа утопической — с правым подтекстом: эта система (понимаемая сегодня как свободный рынок) — часть человеческой природы, любая попытка изменить ее будет сопровождаться насилием, а сохранение достигнутых (вопреки человеческой природе) изменений окажется невозможным без диктатуры» [15]. Однако Джеймисон указывает и на то, что утопия имеет смысл «инаковости», без которой «мы никогда не придем к идее новой политики» [Там же]. Этот аспект утопии Скрутон действительно не акцентирует. Однако ему есть что ответить на замечание Джеймисона о причине исчезновения «пространства по ту сторону любой истории.., которое мы и зовем утопией», а именно: о «характеризующем постмодерн ослабевании чувства истории и способности воображать историческое различие» [Там же]. Помимо традиционных отсылок к важности истории консерватизм имеет в своем распоряжении средства эстетики, позволяющие работать с этими проблемами и оставлять место для инаковости, не поглощающей действительность в отличие от утопии. Это и есть средства воображения, в отличие от фантазии, создающей утопию.

III

Постепенно, от элемента рефлексии собственного литературного творчества у С.Т. Кольриджа, различие воображения и фантазии становится элементом консервативной критики разного рода утопизма — как утопизма законодателей, так утопизма ученых и философов, не говоря уже о бытовых его проявлениях. О первом удачно сказал Т.С. Элиот: «Такая литературная критика, ... едва ли рассчитана на то, чтобы воздействовать на формирование стиля молодых поэтов. Скорее, это, ... рассказ поэта об опыте собственной поэтической деятельности, изложенный в форме, свойственной его мышлению» [8. С. 56]. И, тем не менее, этого различия требовала сама эпистемология как эстетики, так и консерватизма, что периодически вызывало его к жизни. Р. Дж. Коллингвуд, к примеру, выражал протест против вульгарного предрассудка — популярного в XIX веке представления о художнике как мечтателе, создающем «в своей фантазии игровой мир, который, если бы существовал в реальности, был бы (по крайней мере, на взгляд поэта) лучше и приятнее, чем тот мир, в котором мы живем» [9. С. 133—134]. Нетрудно видеть, что этот протест имеет консервативный смысл.

На примере Роджера Скрутона можно проиллюстрировать, как различие воображения и фантазии применяется в области анализа культуры. Оно помогает британскому консерватору наметить отличие между модернизмом и постмодернизмом, понимаемым как культурный феномен. И хотя рассуждения Скрутона заставляют вспомнить об эссе Климента Гринберга о, соответственно, авангарде и китче, привлекаемая к анализу идея Кольриджа придает рассуждениям дополнительное методологическое измерение. Вкратце это рассуждение можно свести к ряду тезисов, что, конечно, не даст представления о полемических достоинствах текста Скрутона, но позволит пояснить ту мысль, что различие воображения и фантазии может выступать инструментом критического анализа культурных явлений.

Скрутон избегает поверхностного сближения постмодернизма с модернизмом. Более того, он даже считает модернизм по существу консервативным явлением, утверждая, что: «Модернизм был не нападкой на художественную традицию, а попыткой спасти ее» [10. Р. 85]. В этой оценке он опирается на мнение самих модернистов о творческом призвании, в частности, отсылает к эссе Т.С. Элиота «Традиция и индивидуальный талант». В этом тексте Т.С. Элиот рассуждает о реактуализации прошлого как условия поэтической деятельности. По его мнению, особое значение для поэта, как и для любого художника, имеет «чувство истории», которое побуждает «творить, ощущая в себе не только собственное поколение, но и всю европейскую литературу от Гомера, а в ее пределах литературу своей собственной страны как целое, которое существует вне времени и составляет вневременной ряд» [16. С. 196]. Более того, значение и оценка поэта вытекают из оценки его связи с поэтами и художниками прошлого [Там же], что образует уже принцип эстетической критики.

Объяснение модернизма как консервативного явления по существу возможно и без привлечения специфически консервативных категорий. Как и Гринберг,

Скрутон считает, что консервативный смысл модернизма состоял в сохранении искусства от его примитивизации массой. Тенденция к нарочитой сложности должна была «заслонить красоту за стеной эрудиции» [10. Р. 85] и тем самым способствовать образованию анклава высокой культуры, устойчивого к профанации. Однако, по его мнению, нарочитые сложность и недоступность модернизма привели к представлению о том, что произведение искусства обязательно должно быть вызовом. Это способствовало смещению ориентиров: как будто оригинальность становилась единственным требованием к художественному произведению, что наносило ущерб его содержательной стороне. «Абстрактное искусство стало не больше чем искусством абстракции» [Там же. Р. 88]. В результате оно перестало считаться последним пунктом соприкосновения с идеальным в секуляризованном мире. Если раньше обрамление картины символизировало границу между действительным миром и миром воображения, то теперь необходимость в обрамлении отпала. Произведение искусства стало вещью среди вещей. Однако постепенная утрата идеального мира, о которой сетует Скрутон, не могла не быть компенсирована. Отсюда, утратив доступ к своему домену, воображение стало чаще уступать фантазии. А это означало, что высокое искусство не могло уже спастись от сентиментальности — главного врага модернизма — т.е. «желания быть причастным чему-то героическому или преображающему, не затрачивая сил на реальные переживания» [8. Р. 86]. Фантазия и есть то, что позволяет заглушить реальное желание посредством суррогата. Ее продуктом в сфере искусства является китч. Это то, что в конечном счете восполняет утрату веры в идеалы: неискренние эмоции, фальшивая мораль и фальшивые эстетические ценности [10. Р. 86]. Таким образом, модернистам не удалось сохранить высокое искусство в качестве неприкосновенной сферы жизни: оно подверглось рутинизации и сентиментализации, свойственной массовой культуре.

В этой ситуации осталось только принять китч, чтобы нейтрализовать его. Нарочитый, а потому обезоруженный китч стал новой формой художественного произведения. Так, по мнению Скрутона, и возник постмодернизм — как «упреждающий китч».

Особенно примечательно то, что эстетическая дистинкция между воображением и фантазией не только используется Скрутоном для характеристики культурных феноменов модернизма и постмодернизма, но и обсуждается как инструмент предметной и систематической философской критики. В этой связи в новой редакции книги о «мыслителях новых левых» (3) Скрутон упрекает С. Жижека в рассмотрении фантазии как движущей силы идеологии: «Почему же, достигая такой степени самосознания, капитализм настойчиво утверждает свое господство, все больше и больше засасывая человеческую жизнь в трясины потребления? Ответ Жижека состоит в том, что идеология обновляется посредством фантазии. Мы цепляемся за мир потребления, где испытываем *наслаждение* (*jouissance*), и оставляем позади себя реальное... Мы приходим к тому, что идеология обслуживает уже не капиталистическую экономику, а саму себя — ради самой себя, наподобие искусства или музыки. Это ситуация, которую Жиль Липовецки и Жан Серуа описали как „эстетизацию мира“. Идеология становится игрушкой в наших ру-

ках — мы и принимаем ее и смеемся над ней, зная, что все имеет свою цену в нашем мире иллюзий, но ничто — ценность» [17. Р. 266].

Таким образом, критика идеологии как фантазии становится апологией самой фантазии. Скрутон подчеркивает это, отсылая к концепциям постмодернистов, злоупотребляющих, по его мнению, данным понятием: «и Жижек, и Лакан говорят о некоем „маленьком другом“, возникающем как объект фантазии и желания...» [Там же. Р. 263] и т.п.

На данных примерах можно видеть, что у Скрутона фантазия приобретает смысл операционального понятия именно в оппозиции к воображению, которое выступает как продуктивная творческая и познавательная способность. В чем же заключается эта продуктивность, еще следует пояснить на материале консервативной риторики.

© Глазков Н.С., 2017

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) 'It is wonderful, how closely Reason and Imagination are connected, and Religion the union of the two' (F I 203n.). Цит. по: Vigus J. James Vigus reads: Alan P.R. Gregory, Coleridge and the Conservative Imagination (Mercer UP, 2003) // *The Coleridge Bulletin*. 2005. Vol. 26.
- (2) См., например, эссе «Платоник» или «Скептик» в [13].
- (3) Scruton R. *Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left*. New York: Bloomsbury, 2015.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Conservative Texts: An Anthology*. Basingstoke: Macmillan, 1991.
- [2] *Dunn T. Dr Scruton and Mr Hyde?* // *Journal Of Area Studies*. Series 1. Vol. 6. Iss. 12. P. 31—32.
- [3] *Мангейм К. Консервативная мысль // Социологические исследования*. 1993. № 9.
- [4] *Vigus J. James Vigus reads: Alan P.R. Gregory, Coleridge and the Conservative Imagination (Mercer UP, 2003) // The Coleridge Bulletin*. 2005. Vol. 26.
- [5] *Мангейм К. Консервативная мысль // Социологические исследования*. 1993. № 1.
- [6] *Кольридж С.Т. Biographia Literaria // Кольридж С.Т. Избранные труды*. М.: Искусство, 1987.
- [7] *Gregory A.P.R. Coleridge and the Conservative Imagination*. Macon, Ga.: Mercer University Press, 2003.
- [8] *Элиот Т.С. Вордсворт и Кольридж // Элиот Т.С. Назначение поэзии. Статьи о литературе*. Киев: AirLand, 1996.
- [9] *Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства*. М.: Языки русской культуры, 1999.
- [10] *Scruton R. Modern Culture*. London: Continuum, 2005.
- [11] *Нарский И.С. Давид Юм*. М., Мысль, 1973.
- [12] *Берк Э. Из «Записной книжки» Э. Берка // Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного*. М.: Искусство, 1979.
- [13] *Юм Д. Сочинения*. В 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
- [14] *Scruton R. The Uses of Pessimism: and the Danger of False Hope*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- [15] *Джеймисон Ф. Политика утопии // Художественный журнал*. 2011. № 84. Дата обращения: 27.06.2017. Доступ по ссылке: <http://moscowartmagazine.com/issue/13/article/173>.

- [16] *Элиот Т.С.* Традиция и индивидуальный талант // Элиот Т.С. Бесплодная земля. М.: Ладомир: Наука, 2014.
- [17] *Scruton R.* *Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left*. New York: Bloomsbury, 2015.

Для цитирования:

Глазков Н.С. Значение дистинкции воображения и фантазии для консервативной идеологии: философия Роджера Скрутона // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2017. Т. 21. № 4. С. 592—601. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-592-601.

Сведения об авторе:

Глазков Никита Сергеевич — аспирант школы философии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: glazkovnikita@gmail.com)

For citation:

Glazkov, N.S. The Meaning of the Distinction Between Fantasy and Imagination for the Conservative Discourse: The Philosophy of Roger Scruton. *RUDN Journal of Philosophy*. 2017; 21 (4): 592—601. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-592-601.

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-592-601

**THE MEANING OF THE DISTINCTION
BETWEEN FANTASY AND IMAGINATION
FOR THE CONSERVATIVE DISCOURSE:
THE PHILOSOPHY OF ROGER SCRUTON**

N.S. Glazkov

Higher School of Economics — National Research University
20, Myasnitskaya Str., 101000, Moscow, Russian Federation

Abstract. The author points out and explains the quiddity of the relationship between conservatism and aesthetics as a philosophical discipline. It is shown that the aesthetic distinction between fantasy and imagination, set forth by S.T. Coleridge, is a serious tool of conservative critique and self-critique. From the conservative point of view, imagination is a creative faculty, while fantasy is a passive one, i.e. dependent hugely on passions. It is for that reason that the latter is often understood as a preliminary source for utopian or, in other words, wishful thinking. The discussed distinction fits in the general pattern of conservative epistemology, the greatest exponent of which was D. Hume. The critical uses of the distinction today are partially exposed by Roger Scruton, a British conservative philosopher, in works such as “The Uses of Pessimism: and the Danger of False Hope”, “Modern Culture and Thinkers of the New Left”. The author argues that the distinction is apt to play not only critical but also a constructive role in shaping the conservative discourse.

Key words: conservatism, aesthetics, fantasy, imagination, conservative epistemology, Roger Scruton

REFERENCES

- [1] *Conservative Texts: An Anthology*. Basingstoke: Macmillan; 1991.
- [2] Dunn T. *Dr Scruton and Mr Hyde?* *Journal Of Area Studies*. Series 1;6(12):31—32.
- [3] Mannheim K. *Konservativnaya mysl'*. *Sotsiologicheskkiye issledovaniya*. 1993;(9). (In Russ.)

- [4] Vigus J. James Vigus reads: Alan P.R. Gregory, Coleridge and the Conservative Imagination (Mercer UP, 2003). *The Coleridge Bulletin*. 2005;26.
- [5] Mannheim K. Konservativnaya mysl'. *Sotsiologicheskiye issledovaniya*. 1993;(1). (In Russ.)
- [6] Coleridge ST. Biographia Literaria. In: Kol'ridzh ST. *Izbrannyye trudy*. Moscow: Iskusstvo; 1987. (In Russ.)
- [7] Gregory APR. *Coleridge and the Conservative Imagination*. Macon, Ga.: Mercer University Press; 2003.
- [8] Eliot TS. Wordsworth and Coleridge. In: Eliot T.S. *Naznacheniyе poezii. Stat'i o literature*. Kiev: AirLand; 1996. (In Russ.)
- [9] Collingwood RG. *Principy iskusstva*. Moscow: YAzyki russkoy kul'tury; 1999. (In Russ.)
- [10] Scruton R. *Modern Culture*. London: Continuum; 2005.
- [11] Narskiy IS. *David Um*. Moscow: Mysl'; 1973. (In Russ.)
- [12] Burke E. Iz «Zapisnoy knizhki» E. Berka. In: Burke E. *A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*. Moscow: Iskusstvo; 1979. (In Russ.)
- [13] Um D. *Sochineniya. In 2 vol. Vol. 2*. Moscow: Mysl'; 1996. (In Russ.)
- [14] Scruton R. *The Uses of Pessimism: and the Danger of False Hope*. Oxford: Oxford University Press; 2013.
- [15] Jameson F. Politika utopii. *Khudozhestvennyi zhurnal*. 2011;(84) [cited 2017 June 27]. Available from: <http://moscowartmagazine.com/issue/13/article/173>. (In Russ.)
- [16] Eliot TS. Traditsiya I individual'nyi talant. In: Eliot T.S. *The Waste Land*. Moscow: Ladomir: Nauka; 2014. (In Russ.)
- [17] Scruton R. *Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left*. New York: Bloomsbury; 2015.

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-602-611

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «РАЦИОНАЛЬНОГО» СТРАХА В ЭПОХУ МОДЕРНА

А.Е. Зырянов

Институт философии РАН
109240, Москва, Россия, ул. Гончарная, 12, стр. 1

Статья посвящена анализу феномена «рационального» страха, возникающего в эпоху модерна. В своем исследовании автор опирается на работы Томаса Гоббса как создателя концепции «рационального» страха. Предпринята попытка представления концепта «рационального» страха как основы политической философии английского мыслителя. Автор демонстрирует, как Томас Гоббс, переосмысливая традиционные представления о страхе, формулирует собственную оригинальную концепцию «рационального страха», появление которой стало возможно лишь в эпоху модерна. Порывая с «традицией», свое определение страха Гоббс формулирует в механистическом ключе. Особое внимание в статье уделяется использованию страха в визуальных стратегиях английского философа (на примере анализа фронтисписа «Левифана»). Автор также рассматривает проблемные места концепции «рационального страха» и возможные пути их преодоления.

Ключевые слова: социальная философия, модерн, страх, эмоция, смерть, государство, свобода, безопасность, визуальная стратегия

Одной из сильнейших человеческих эмоций является страх. По мнению большинства психологов, она является врожденной и оказывает непосредственное воздействие на поступки людей. Когда страх захватывает человека, последний полностью теряет способность к рациональному мышлению и к адекватному принятию решений. «Так, поведение человека в страхе было опредмечено во всех культурах. Страх обрел новые значения и смыслы, стал отправной базой для оценки и контроля поведения людей» [5]. Однако эта эмоция присуща не только человеку, но и большинству представителей животного мира. Она является ответной реакцией на внешнюю угрозу и основным механизмом выживания, который реализуется в принятии решения: противостоять или бежать. Стратегия избегания опасности почти во всех культурах воспринималась как нечто «постыдное», что наложило свой отпечаток на восприятие страха как негативной эмоции. Подобное восприятие было переосмыслено выдающимися философами и психологами.

Тема страха привлекала умы ученых на протяжении веков. В античности этой темой интересовались такие философы, как Платон и Аристотель. Как отмечает американский исследователь социально-политической философии Кори Робин, именно страх оказывается «первой эмоцией, которую испытывает человек в Библии» [7. С. 9]. В Средние века к теме страха обращаются религиозные мыслители, а в Новое время о ней писали Монтень и Декарт. Однако наибольшее развитие тема получает в эпоху модерна, когда исторические события, такие как войны, междоусобицы и революции, повергали людей в состояние тотального страха за свою жизнь и свое будущее.

Первым, кто ясно осознал «могущество» данной эмоции, был английский мыслитель Томас Гоббс. Он не просто создал удивительную концепцию страха, которая не утратила своей актуальности до сих пор, но фактически помыслил страх в социально-философских категориях, сделав его основой своей теории. Гоббс был одним из первых философов, наиболее ясно осознавших определяющую силу именно коллективного страха, который может быть использован в социально-политических целях. «Страх смерти был любимой темой Гоббса, — пишет Кори Робин, — не просто аффектом, но когнитивным предощущением телесного разрушения, так как философ думал, что тот открывает выход из естественного состояния» [Там же. С. 44]. В данной статье речь пойдет о феномене страха в интерпретации Томаса Гоббса, его функциях и значении для социально-философской мысли модерна.

Томас Гоббс родился 5 апреля 1588 года. Это были преждевременные роды, так как его мать была напугана известием о вторжении в Англию Непобедимой армады. Впоследствии Гоббс любил повторять: «Моя мать была переполнена таким страхом, что она носила близнецов: меня и вместе со мной страх» [13. С. 17]. Понятие страха стало одним из центральных в философии Томаса Гоббса.

В анализе феномена страха в мысли Гоббса нас интересует, прежде всего, его кардинальный разрыв с традицией, разрыв, который стал причиной переосмысления понятия «страх» в контексте модерна.

Как пишет американский философ Лео Штраус, до «открытия» Гоббсом Эвклида английский мыслитель продолжал верить в авторитет традиционной, аристотелевской, морали и политической философии [15. С. 129]. Но даже тогда его интересовали не сами классические нормы, а способы их применения. Изучая историю, Гоббс пытается понять, какие силы реально определяют поведение людей. Он обнаружил эти силы в людских страстях. Среди них он обращает особое внимание на тщеславие и страх. «Тщеславие — это сила, которая делает людей слепыми, страх — это сила, которая заставляет человека видеть» [Там же. С. 129]. Подчеркивая важность этих страстей, Гоббс выходит за рамки традиционной морали и социально-политической философии.

Страх у Гоббса — это отнюдь не примитивная эмоция, присущая всем животным. Это, по выражению Кори Робина, «рациональная, нравственная эмоция, которой обучали влиятельные люди в церквях и университетах» [7. С. 45]. Сам мыслитель дает исчерпывающее определение страха в первой книге трактата «О гражданине»: «Я же понимаю под этим термином любое предвидение будущего зла. Я включаю в понятие страха не только стремление бежать (от опасности), но и недоверие, подозрение, осторожность, предусмотрительность, позволяющие избежать опасности» [1. С. 287—288]. Таким образом, страх представляет собой «не событие (испуг), но состояние подобно тому, как и война, по Гоббсу, это не битва (событие), но состояние» [9. С. 26].

Изменения в оценке страха объясняются, по мнению Лео Штрауса, тем, что Гоббс больше всего ценит человеческую жизнь. Гоббс утверждает, что хорошие вещи хороши потому, что служат защите жизни. Для Аристотеля же хорошие вещи те, что дают добро, а не те, что сохраняют другие вещи. Наконец, Гоббс считает

лучшим противоядием против гнева и ярости — страх, а Аристотель в первую очередь упоминает уважение и только потом страх [15. С. 130]. Гоббс, по мнению Штрауса, порывает с традицией и в вопросе природы человека. Если для Аристотеля человек — это «животное политическое», то для Гоббса человек — это эгоистичное существо, которое преследует только свои собственные цели и поэтому оказывается в большей степени «асоциальным». В этом и заключался разрыв Гоббса с традицией и становление новой политической науки. По этой причине Штраус называл Гоббса ключевым представителем «первой волны современности» [Там же. С. 149].

Все люди от природы обладают в равной степени физическими и умственными способностями. «Из этого равенства способностей возникает равенство надежд на достижение целей» [2. С. 86], но два человека не могут одновременно обладать одной и той же вещью. Отсюда проистекают взаимное недоверие и война, когда отдельные индивиды оказываются неспособными контролировать ситуацию. Это подтверждает и современный американский психолог Кэррол Изард: «чувство утраты контроля над ситуацией — одна из причин, порождающих страх» [4. С. 207]. В естественном состоянии жизнь человека «одиока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» [2. С. 87]. Люди нападают друг на друга, чтобы не только сохранить свою собственную свободу, но и приобрести господство над другими. Они прибегают к насилию для достижения своих целей, и каждый является врагом каждого. В такой «войне всех против всех» («bellum omnium contra omnes») «ничто не может быть несправедливым» [Там же. С. 88].

В соответствии с логикой Гоббса, естественное состояние логически предшествовало государственному. Гоббс рассматривал его как потенцию, которая постоянно присутствует в человеке и возобновляется в случае прекращения суверенной власти, а гражданские войны и восстания — как рецидивы «войны всех против всех». В естественном состоянии нет собственности, нет справедливости, нет места трудолюбию, т.к. никому не гарантированы плоды его труда, есть только война, «вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти», а «сила и коварство являются на войне двумя кардинальными добродетелями» [Там же]. Таким образом, Томас Гоббс критикует подобное первобытное состояние за то, что оно мешает нормальному развитию человеческого общества.

Исходя из этой посылки, люди должны стремиться к выходу из естественного состояния. Пока это состояние продолжается, они не способны прийти к договоренности, «рациональный баланс интересов не возникает сам собой, он нуждается в рамках порядка, который на языке политической философии называется миром» [8. С. 287]. Страх перед смертью — это наиболее существенная причина, склоняющая людей к заключению мира, а разум подсказывает «подходящие условия мира, на основе которых люди могут прийти к соглашению» [2. С. 88]. Это первый и основной естественный закон, который гласит: «Следует искать мира и следовать ему [...] защищать себя всеми возможными средствами» [Там же. С. 90]. Люди приходят к необходимости заключения общественного договора «каждого с каждым», который позволит перейти к гражданскому состоянию. Это то, что немецкий правовед Карл Шмитт называет «искрой Ratio»: люди, переполненные страхом перед лицом естественного состояния, собираются вместе, и в критический момент

происходит создание нового Бога [9. С. 147]. Они большинством голосов избирают правящую власть, и на этом их политические полномочия заканчиваются. Граждане теряют все свои права, кроме тех, которые может предоставить им суверен, если сочтет это нужным, и права на жизнь. В результате заключения общественного договора образуется государство, а люди переходят от естественного состояния к гражданскому.

Современная физиология и психология подтверждают правоту Томаса Гоббса. Эти дисциплины экспериментально доказали, что люди объединяются под воздействием страха. В этом люди ничуть не отличаются от животных, которым также легче переносить страх, находясь в группе. Современные российские психологи Гуляхин В.Н. и Тельнова Н.А. в статье «Страх и его социальные функции» утверждают, что страх выступает как «наиболее сильная мотивация для поиска безопасной среды существования и может усиливать социальные связи, включая бегство за помощью и коллективную защиту» [3. С. 54].

Таким образом, из естественного состояния появляется Левиафан, цель которого заключается в обеспечении безопасности, т.к. именно из страха перед смертью люди, которые «от природы любят свободу» [2. С. 116], связали себя узам, живя в государстве. Принимая во внимание эту предпосылку, Гоббс переходит к «выведению» прав государства. «Это отличает концепцию Гоббса от классической традиции, которая начинает рассмотрение государства с его прав» [15. С. 141].

Люди передают свои права человеку или группе людей из взаимного страха, страха насильственной смерти и страха, самого по себе непреодолимого (принудительного). Все это согласуется с принципом свободы. Другими словами, люди добровольно заменили страх перед естественным состоянием на страх перед мечом суверена. Они заменили неизбежную опасность на опасность, которая угрожает только нарушителям законов [Там же. С. 143]. Томас Гоббс переосмыслил традиционное представление о страхе, сделав его единственным возможным условием выхода из естественного состояния и поставив его на «службу» государству.

Кроме того, то, что отличает социальную философию Гоббса, легшую в основу социально-политических воззрений эпохи модерна, от традиции — это использование страха в визуальных стратегиях. Конечно, в любое время существование социально-политической сферы невозможно было представить без использования символов. Символ был и остается одной из важнейших составляющих построения и осмысления человеческой реальности. Как чувственно-воспринимаемый или абстрактный способ воплощения он способен донести до индивида содержание той или иной политической системы, таким образом помогая конкретному человеку лучше ориентироваться во внешнем мире. Однако именно Томаса Гоббса можно назвать самым последовательным философом, использующим «визуальные стратегии» для подкрепления своих доводов. Поэтому мы обратимся к фронтиспису «Левиафана», рассматривая это мифическое животное как политический символ.

На первой странице трактата находится гравюра с названием «Левиафан» и цитатой из Книги Иова: «Non est potestas Super Terram quae Comparetur ei» (лат., «Нет на Земле власти, подобной ему») [см. рис. 1 ниже].

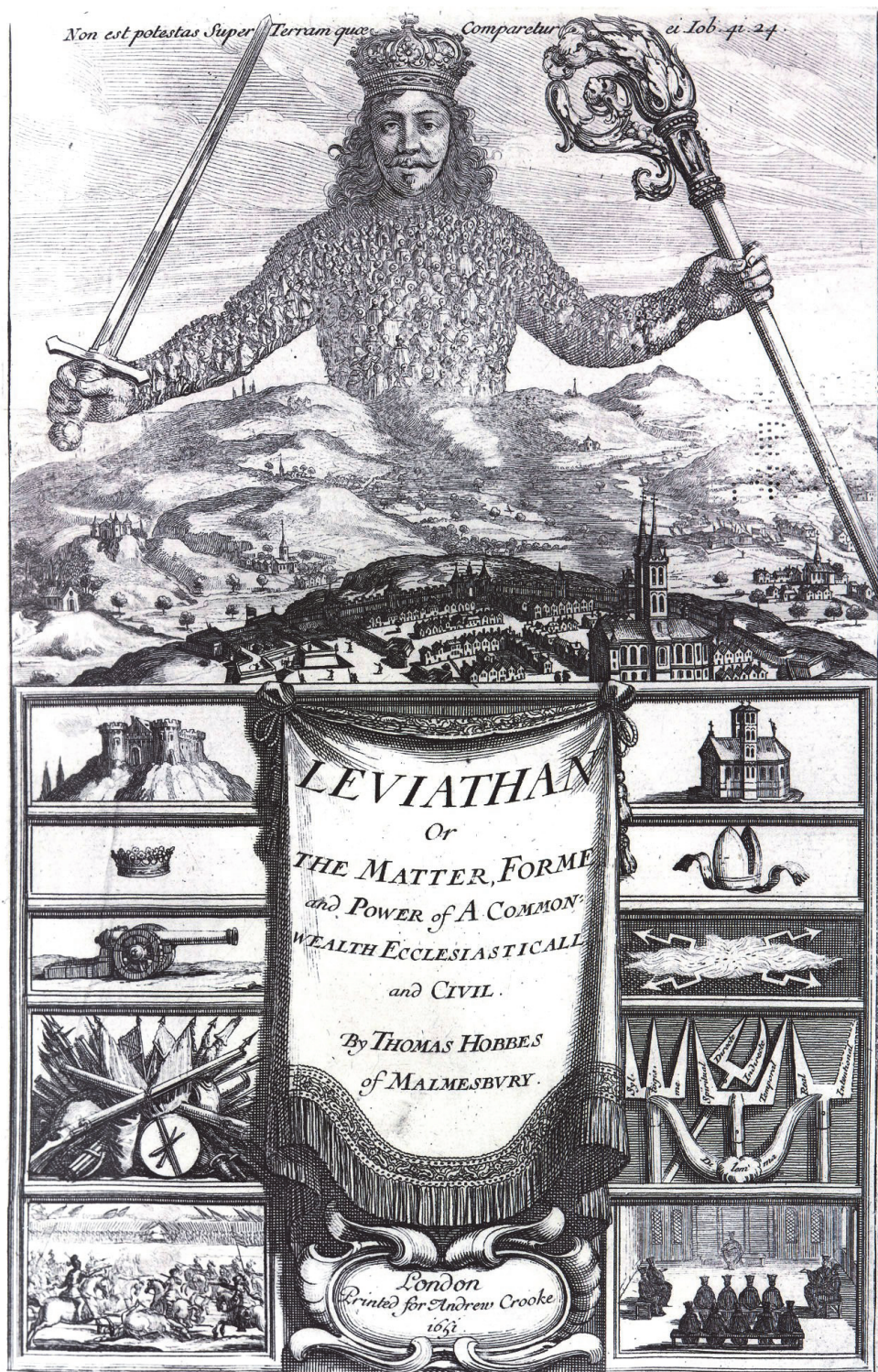


Рис. 1. Гравюра, помещенная на титульную страницу «Левиафана», 1651 год.
Автор Авраам Боссе (Абрахам Босс)

Fig. 1. The frontispiece of the book «Leviathan», 1651, engraving by Abraham Bosse

Интересно заметить, что, несмотря на ее название, Левиафан, изображенный на ее фронтисписе, визуально имеет мало общего с морским чудовищем, а скорее напоминает «массивных гуманоидов», описанных в Асклепии. Хотя Гоббс нигде дословно и не цитировал текст Асклепия, все же, по мнению немецкого историка и философа Хорста Бредекмпа, имеют место быть бесчисленные ссылки на герметический корпус в других разделах «Левиафана» [11. С. 33]. Карл Шмитт, немецкий юрист и политический философ, отмечает, что «единство политической общности часто и в различных значениях воспринималось в образе человека-великана (*magnum corpus*). Истории политических идей известен и образ гигантского зверя». А Платон, к которому «восходит представление о политической общности как о большом человеке, называет движимую иррациональными аффектами толпу многоголовым и пестрым зверем» [9. С. 108].

Изображение Левиафана является, пожалуй, одним из самых известных в истории социально-политической философии Нового времени. Нижняя часть представляет собой триптих с несколькими символическими объектами светской и церковной власти. Элементы одной стороны противопоставляются элементам другой: замок и церковь, корона и митра. Пушка как «последний довод королей» и молнии божественного гнева, символизирующие отлучение от церкви, своего рода «тяжелую артиллерию» организованной религии. Далее оружия и инструменты философской дискуссии — трезубец силлогизма, рога дилеммы, вилки прямого и непрямого, духовного и временного, реального и преднамеренного; битву заменяет богословская дискуссия. И в конце — поле боя и заседание религиозного суда.

Над триптихом — город с домами, церковью и несколькими горожанами. В центре изображен огромных размеров человек с короной на голове, составленный из множества маленьких людей, изображенных спиной к зрителю и поднимающих взгляд к голове гиганта, которого они составляют. Эти «объятые страхом атомизированные одиночки собираются вместе, затем вспыхивает свет разума и возникает консенсус, нацеленный на всеобщее и безусловное подчинение сильнейшей власти» [Там же. С. 151]. Левиафан включает в себя каждого из своих создателей, которые возвели его как гаранта общественного договора, а затем подчинились ему. В правой руке Левиафан держит меч, символ светской власти, в левой — епископский жезл, символ церковной власти, что отражает идею их объединения в лице единого суверена. Именно этот «смертный Бог, чья власть внушает всем страх, принуждает людей жить в мире» [Там же. С. 128].

Однако самое важное в теории Гоббса то, что с наступлением государственного состояния страх не исчезает. Он оказывается необходимым для поддержания спокойствия и обеспечения безопасности, в которой заинтересованы сами подданные. Сохраняется и страх перед возможностью возвращения естественного состояния «вследствие внутренних болезней» [2. С. 220]. Благодаря заключению общественного договора люди избавляются от ужаса бедственного состояния «войны всех против всех», но оказываются «ввергнутыми в столь же тотальный страх перед господством „Молоха и Голема“» [9. С. 224]. Однако государство не стремится таким образом подавить своих подданных, а лишь защищает и «очеловечивает» их. «...Природное злонравие человека всегда является аксиомой для обоснования авторитета государства, и как бы ни разнились между собой теорети-

ческие интересы Лютера, Гоббса, Босюэ, де Местра и Штала, этот аргумент у них всегда оказывается решающим» [Там же. С. 27].

Фронтиспис «Левиафана», по мнению Шмитта, следует считать не просто дополнением к работе, но ее важным компонентом. Созданный в Париже гравером Авраамом Боссе в сотрудничестве с Гоббсом, он поражает воображение еще до начала чтения самого текста. И такое воздействие не случайно. Ни до Гоббса, ни после него не было столь настойчивого сторонника визуальных стратегий. Согласно Гоббсу, изображения воздействуют непосредственно на зону психофизической активности человека [11. С. 32]. Без осознания силы, которая может быть заключена в изображении, сложно правильно понять отличительные качества социальной философии Гоббса.

Фронтиспис «Левиафана» оказывается известнее даже содержания книги. Вероятнее всего автор преследовал именно эту цель. Шмитт указывал на то, что гравюра на титуле не случайна: она должна была завораживать и *пугать* читателя еще до того, как он открыл книгу. За символ цеплялись понятия, которые Гоббс вкладывал в головы очарованных «Левиафаном» интеллектуалов. «Та глубокая истина, что понятия и дистинкции являются политическим оружием, причем оружием „косвенных“ властей, приобретает, таким образом, наглядность уже с первой страницы этой книги» [9. С. 125]. При этом в тексте книги сам Левиафан упоминается лишь трижды. «Гоббс не был мифологом и сам не стал мифом. С мифом он сблизился, только использовав образ Левиафана. Но именно с этим образом он допустил промашку и именно об этот образ разбилась его попытка восстановить естественное единство» [Там же. С. 240].

Страх человека, запускающий в действие другой механизм, а именно разум, оказывается неким активным началом в рассуждении, которое в конечном итоге должно привести к выводу о пользе заключения мира — «порожденный страхом разум доказывает, что отсутствие страха есть условие удовлетворения любого влечения» [6. С. 162]. Страх возвращает человека с небес на землю и заставляет осознать весь ужас пребывания в естественном состоянии.

Подобно Шмитту, британский политический теоретик Майкл Оукшот считает, что именно «рациональный» страх является единственным возможным вариантом выхода из естественного состояния, которое препятствует нормальному развитию человеческого общества.

Майкл Оукшот отмечает, что в естественном состоянии до того, как человеческий разум приходит к выводу о необходимости заключения мира, он находит свое спасение в религии. «Семена» религии, как и рассуждения, лежат в природе человека, но то, что произрастает из этого семени, определенный набор религиозных верований и практик, является искусственно созданным. «Религия является необходимым дефектом человеческого благоразумия, его неопытности» [15. С. 33]. Благоразумие — предвидение вероятного будущего, и понимание вероятных причин основано на воспоминании. Они оказываются причиной людского страха, когда человек встречается с чем-то лежащим за пределами его понимания. Тут религия и приходит на помощь. Она оказывается продуктом психической деятельности, способной разрешить эту ситуацию.

Сам Гоббс в «Возражениях» на «Размышления» Декарта отвергал декартовское утверждение не только о врожденной идее Бога, но и положение о божественной природе религии. Он довольно подробно рассматривает вопрос о происхождении религии. Согласно его воззрениям, ее источники носят чисто гносеологический характер. Вслед за Гоббсом Спиноза в своем «Богословско-политическом трактате» объявил «легковерие и страх» истинным источником суеверия и религии.

Таким образом, религия берет свое начало из разумного страха перед тем, что вышло за пределы благоразумия — именно поэтому люди всегда поклонялись тому, чего боялись, тому, что находилось за пределами их понимания. Вечный страх, возникающий из религиозных стремлений, сосредотачивается на определенном объекте — Боге. «Настойчивость в рассуждениях может выявить необходимость Первопричины, но о ней известно так мало, что зависимость человека по отношению к ней всегда будет выражаться в поклонении, а не знании» [Там же. С. 36]. И каждый человек, в соответствии со своим ограниченным опытом и величиим своего страха, оказывает Богу поклонение и воздает почести.

Религия не является избавлением от страха; она лишь замещает страх земной жизни на страх перед Всевышним, что, однако, может облегчить существование человека в реальном мире. Гоббса нельзя считать «упразднителем религии», как это утверждали представители советской науки. Он не преследует целью ее уничтожение, а является ее своеобразным реформатором. Он выступает против шарлатанства и бессмысленных догматов религии, так как последние приводят к религиозной борьбе и переворотам. С его точки зрения, человек не может быть неверующим, так как в противном случае он не мог бы объяснить себе многие события, происходящие вокруг него. «Семена» религии «никогда не могут быть в такой мере искоренены из человеческой природы, чтобы они не дали снова ростков новых религий при возделывании их такими людьми, которые обладают для этого подходящей репутацией» [2. С. 82].

Ясно осознавая это, Гоббс решает поставить религию на службу государству [15. С. 42]. Раз религия владеет над умами людей и вселяет в них страх, представляя собой большую политическую силу, то ее надо непременно использовать в социальных целях. «Можно заставить человека верить всему тому, что говорят ему люди, которые приобрели его доверие и которые умеют исподволь и ловко использовать его страх и невежество» [2. С. 80]. И религия, и государство возникают из человеческого страха, следовательно, подданные должны быть покорны суверену не только из-за земных страхов, но и из-за страха небесных сил. Суверен — земной правитель, Бог — небесный. Гоббс в ходе аргументации часто ссылается на христианские положения. Воля правителя — то же самое, что «повеление Христа» [1. С. 396, 401]. Естественные законы совпадают с евангельскими заветами: шестой закон о прощении обиды, восьмой закон против оскорбления, девятый закон против гордости и правило, облегчающее рассмотрение естественных законов — «не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе» [2. С. 110, 186, 337].

Религия должна подчиниться государству, «чтобы наряду с мечом суверена держать людей еще в большем страхе» [15. С. 44], но конечная цель этого есть благо — мирное существование подданных в государстве и отсутствие боязни

за свою жизнь. Однако существующая религия, считает Гоббс, не соответствует критериям «государственной» религии. Она должна претерпеть ряд изменений, стать естественной и отказаться от притязаний на власть, чтобы стать полезной для общества.

Таким образом, Томас Гоббс в своих трудах кардинальным образом переосмыслил традиционные представления о страхе и сформулировал свою собственную уникальную концепцию «рационального» страха, появление которой стало возможно лишь в эпоху модерна. Долгое время Гоббс оставался «недооцененным» философом, а современниками его сочинения были восприняты враждебно. Как утверждает Кори Робин, «в том, что Гоббс бежал от своих врагов, а затем от своих друзей, не было ничего случайного, поскольку он создал политическую теорию, которая разрывала все давнишние альянсы. Вместо того чтобы отвергнуть революционную аргументацию, он проглотил и преобразовал ее» [7. С. 108]. Гоббс оказался не только ключевым представителем «первой волны современности», но и заложил стандарты новой политической науки, оказавшей огромное влияние на представителей эпохи модерна.

© Зырянов А.Е., 2017

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Гоббс Т.* Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.: Мысль, 2001.
- [2] *Гоббс Т.* Избранные сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1989.
- [3] *Гуляхин В.Н., Тельнова Н.А.* Страх и его социальные функции // *Философия социальных коммуникаций*. Научно-теоретический журнал. 2010.
- [4] *Изард К.* Психология эмоций. СПб.: Мастера психологии, 2007.
- [5] *Касумов Т.К., Гасанова Л.К.* Страхи в жизни и жизнь в страхе // *Вопросы философии*. 2014. № 1. Дата обращения: 10.07.17. Доступ по ссылке: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=886&Itemid=52.
- [6] *Оукиот М.* Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002.
- [7] *Робин К.* Страх. История политической идеи. М.: Территория будущего, 2007.
- [8] *Филиттов А.Ф.* Техника диктатуры: к логике политической социологии // Шмитт К. Диктатура. М.: Фолио, 2010.
- [9] *Шмитт К.* Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб.: Владимир Даль, 2006.
- [10] *Штраус Л.* Естественное право и история. М.: Водолей Publishers, 2007.
- [11] *Bredenkamp H.* Thomas Hobbes's Visual Strategies // *The Cambridge Companion to Hobbes's Leviathan*. Cambridge: Cambridge Press, 2007.
- [12] *Malcolm N.* Aspects of Hobbes. Oxford: Clarendon Press, 2002.
- [13] *Martinich A.* Hobbes: A Biography. Cambridge: Cambridge Press, 1999.
- [14] *Oakeshott M.* Hobbes on Civil Association. Oxford: Oxford University Press, 1975.
- [15] *Strauss L.* The Political Philosophy of Hobbes. Its Basis and Its Genesis. Chicago: University of Chicago Press, 1952.

Для цитирования:

Зырянов А.Е. Формирование концепции «рационального» страха в эпоху Модерна // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2017. Т. 21. № 4. С. 602—611. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-602-611.

Сведения об авторе:

Зырянов Александр Евгеньевич — аспирант сектора социальной философии Института философии РАН (e-mail: ae.zyryanov@gmail.com).

For citation:

Zyryanov, A.E. Formation of the Concept of “Rational” Fear in the Era of Modernity. *RUDN Journal of Philosophy*. 2017; 21 (4): 602—611. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-602-611.

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-602-611

FORMATION OF THE CONCEPT OF “RATIONAL” FEAR IN THE ERA OF MODERNITY

A.E. Zyryanov

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
12/1, Goncharnaya Str., 109240, Moscow, Russian Federation

Abstract. This paper outlines the phenomenon of “rational” fear arising in the modern era. The author relies on the work of Thomas Hobbes, as the creator of the concept of “rational” fear. The author makes an attempt to submit the concept of “rational” fear as the basis of the political philosophy of the English thinker. The author demonstrates how Hobbes reinterprets the traditional notion of fear and formulates his own original concept of “rational” fear, the appearance of which became possible only in the era of modernity. Breaking with the “tradition”, Hobbes formulates his definition of “fear” in a mechanical way. The English philosopher turns out to be the creator of the “new political science”, in which foundation he lays the concept of “rational” fear. In the analysis of the “Leviathan” frontispiece, special attention is paid to the visual strategies of the English philosopher and to the idea of the Leviathan as a mythical monster. The author examines some problem areas of the concept of “rational” fear and possible ways to overcome it.

Key words: social philosophy, modern, fear, emotions, death, state, freedom, security, visual strategy

REFERENCES

- [1] Gobbs T. *Leviafan, ili materiya, forma i vlast' gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo*. Moscow: Mysl'; 2001. (In Russ.)
- [2] Gobbs T. *Izbrannyye sochineniya v dvukh tomakh*. Moscow: Mysl'; 1989. (In Russ.)
- [3] Gulyakhin VN, Tel'nova NA. Strakh i yego sotsial'nyye funktsii. *Filosofiya sotsial'nykh kommunikatsiy. Nauchno-teoreticheskiy zhurnal*. 2010. (In Russ.)
- [4] Izard K. *Psikhologiya emotsiy*. Saint Petersburg: Mastera psikhologii; 2007. (In Russ.)
- [5] Kasumov TK, Gasanova LK. Strakhi v zhizni i zhizn' v strakhe. *Voprosy filosofii*. 2014;(1) [cited 2017 Jul 10]. Available from: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=886&Itemid=52. (In Russ.)
- [6] Oukshot M. *Ratsionalizm v politike i drugiyе stat'*. Moscow: Ideya-Press; 2002. (In Russ.)
- [7] Robin K. *Strakh. Istoriya politicheskoy idei*. Moscow: Territoriya budushchego; 2007. (In Russ.)
- [8] Filippov AF. Tekhnika diktatury: k logike politicheskoy sotsiologii. In: Shmitt K. *Diktatura*. Moscow: Folio; 2010. (In Russ.)
- [9] Shmitt K. *Leviafan v uchenii o gosudarstve Tomasa Gobbsa*. Saint Petersburg: Vladimir Dal'; 2006. (In Russ.)
- [10] Shtraus L. *Yestestvennoye pravo i istoriya*. Moscow: Vodoley Publishers; 2007. (In Russ.)
- [11] Bredekamp H. *Thomas Hobbes's Visual Strategies*. The Cambridge Companion to Hobbes's Leviathan. Cambridge: Cambridge Press; 2007.
- [12] Malcolm N. *Aspects of Hobbes*. Oxford: Clarendon Press; 2002.
- [13] Martinich A. *Hobbes: A Biography*. Cambridge: Cambridge Press; 1999.
- [14] Oakeshott M. *Hobbes on Civil Association*. Oxford: Oxford University Press; 1975.
- [15] Strauss L. *The Political Philosophy of Hobbes. Its Basis and Its Genesis*. Chicago: University of Chicago Press; 1952.



DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-612-620

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ (образ Калки в средневековых пуранах)

А.С. Иванова

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
115184, Москва, Россия, ул. Новокузнецкая, д. 23/5А

Статья посвящена характеристике психологических аспектов восприятия мифологического образа Калки — десятой аватаре Вишну, индуистскому мессии, приход которого должен положить конец нравственному и религиозному упадку в последние времена Кали-юги. Нашей целью будет апробация методологии Л.С. Выготского, представленной в «Психологии искусства», для изучения эмоциональных структур религиозного текста на материале пуранического мифа о Калки. Применение психологического анализа эмоциональных структур религиозного текста на материале средневековых пуран о Калки дает возможность оценить интенсивность и качество эмоциональных переживаний, связанных с восприятием мифологического образа данного героя. Согласно Выготскому эмоциональность художественного текста можно свести к постоянному антагонизму между аффектами эмоциональной формы и эмоционального содержания произведения, в процессе которого происходит катарсис, провоцирующий эстетическую реакцию читателя.

Ключевые слова: Калки, аффект, эстетическая реакция, катарсис, психология искусства, эмоциональная структура

Если предположить, что каждый религиозный текст оказывает определенное эмоциональное воздействие на своего адресата, то возникают вопросы: каким образом может быть осуществлен анализ психологических структур данного текста? Можно ли с какой-то степенью достоверности установить и описать влияние религиозного текста на эмоциональную сферу верующих? Не претендуя на общее решение данных вопросов, мы обратимся к определенному типу религиозных текстов, содержащих в себе яркую художественную составляющую, и попытаемся приложить к ним методы, разработанные в рамках психологии искусства. Осознавая ряд неизбежных ограничений применения данной методологии к конкретному религиозному тексту (к примеру, мы не сможем достоверно установить религиозные цели и задачи создателей текста, влияющие на его содержание и композицию, так как это сверххудожественные задачи, которые не входят в компетенцию этого метода), сосредоточимся на выявлении психологических структур текста, определяющих механизм появления эмоциональной реакции.

Для решения поставленной задачи мы будем использовать в качестве предмета анализа такие памятники средневекового индуизма, как «Вишну-пурану», «Ваю-пурану», «Брахманда-пурану», «Калки-пурану», в качестве метода — идеи, предложенные Л.С. Выготским в «Психологии искусства» (1965) (1).

Одним из известных пуранических сюжетов является эсхатологический миф о Калки (*kalki*) — десятом из основных воплощений (*аватара*) Вишну, индуистском мессии, приход которого должен положить конец нравственному и религиозному упадку в последние времена Кали-юги. Он по-разному воспроизводится в древних текстах («Вишну-пуране», «Ваю-пуране», «Брахманда-пуране» — IV—IX вв. н.э.) и «Калки-пуране» — позднем вишнуитском бенгальском памятнике XVIII века [1. Р. 183], сочетающем в себе сведения о Калки, взятые из «Бхагавата-пураны» и «Вишну-пураны». В связи с тем, что пураническая форма изложения, в силу своей энциклопедичности, не предполагает наличие повсеместной активной художественной составляющей формы повествования, мы рассмотрим только такие памятники, где говорится об эмоциях, связанных с образом Калки, или о тех событиях, что провоцируют эмоциональное восприятие десятой аватары Вишну.

Прежде чем перейти к непосредственному анализу фрагментов о Калки, кратко остановимся на основных особенностях метода Л.С. Выготского, изучавшего психологию воздействия художественного текста как «совокупности эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции» [2. С. 10]. Согласно одной из основных идей «Психологии искусства», искусство, будучи «общественной техникой чувства» [Там же], способно оформлять и регулировать эмоциональную сферу человека. Любой текст, где есть художественное измерение, можно изучать с помощью специального объектно-аналитического метода, включающего в себя психологический анализ и синтез художественных систем «раздражителей». Данный метод позволяет изучать произведение искусства само по себе, вне зависимости от его народного или авторского происхождения (так как в любом произведении одновременно присутствуют элементы литературной традиции и авторская композиция материала), без оглядки на автора и читателя. Общий смысл метода, разработанного Выготским, можно свести к нескольким установкам:

1) любое произведение искусства (текст) — это комплекс «эмоциональных раздражителей», которые упорядочены так, чтобы вызвать определенную эстетическую реакцию;

2) с помощью анализа структуры «раздражителей» можно увидеть механизм их действия и сформулировать психологический закон восприятия текста;

3) поэтапный процесс использования метода Л.С. Выготского может быть представлен следующей формулировкой: «от формы художественного произведения через функциональный анализ его элементов и структуры к воссозданию эстетической реакции и установлению общих законов» [Там же. С. 23].

Согласно Выготскому, процесс восприятия художественного текста можно свести к постоянному взаимодействию эмоций формы и эмоций содержания произведения, в процессе которого происходит катарсис — точка разряда эмоций [Там же. С. 156]. Содержание — это сам материал или фабула, на которой основан текст, существующий до его художественного оформления: «все то что поэт взял как готовое — житейские отношения, истории, случаи, бытовую обстановку, все то что существовало до рассказа и может существовать вне и независимо от рассказа» [Там же. С. 107]. Содержание само по себе может описывать или вызывать

эмоции с помощью художественных образов. Расположение материала по законам художественного построения называется формой произведения. Вследствие применения определенной формы к материалу (к примеру, облачение текста в стих определенного ритмического размера) у читателя появляется «лирическая эмоция в широком смысле слова, то есть специфическая эмоция художественной формы» [Там же. С. 35]. Эмоции, которые возникают у читателя в процессе восприятия содержания или формы произведения, называются аффектами.

Конфликт между эмоциями, транслируемыми формой и содержанием, Л.С. Выготский называет противочувствованием или катарсисом — движением внутри произведения, которое влечет за собой «короткое замыкание, разрешающее аффект: происходит преобразование, просветление чувства» [Там же. С. 7]. Возникая одновременно с катарсисом, эстетическая реакция основывается на переживаемых аффектах и соаффектах, провоцируемых произведением искусства.

Обращаясь к идее Л.С. Выготского о том, что любое художественное произведение представляет собой совокупность эстетических знаков, организованных таким образом, чтобы вызывать эмоции, можно предположить, что религиозный текст, как полноценная знаковая система, провоцирующая определенное эмоциональное восприятие, является доступным для анализа с помощью методических структур, описанных в «Психологии искусства».

С помощью метода Выготского мы будем определять эмоциональные структуры религиозного текста, не претендуя на полноту воспроизведения метода, но ограничиваясь тем, чтобы обнаружить эмоциональные составляющие содержания и формы, точки катарсического конфликта между ними, образующие эстетическую реакцию. Нашей целью будет апробация психологического анализа восприятия эмоциональной составляющей религиозных памятников на материале текстов пуранического мифа о Калки, в которых идет речь об эмоциональном восприятии Калки или событиях, связанных с ним.

Анализируя эмоциональный аспект восприятия в каждом отдельном фрагменте текста о Калки, мы будем опираться на несколько критериев:

1) определение соотношения содержания (первичного сюжета о Калки) и формы (композиции конкретного текста) в каждом конкретном представленном фрагменте;

2) характеристику внутреннего состояния Калки;

3) анализ интенсивности и качества эмоций, связанных с восприятием Калки;

4) определение потенциальной возможности для возникновения аффективного противоречия — катарсиса и эстетической реакции.

Наш анализ источников о Калки начнем с «Вишну-пураны», содержащей пророчество о последствиях действий Калки.

«С помощью своей мощной силы он уничтожит всех млеччхов и воров и всех тех, чьи умы будут незаконными. Он восстановит справедливость на земле, и умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, проснутся и станут подобными прозрачному кристаллу (4. Р. 102).

Образ Калки в данном фрагменте практически лишен каких-либо индивидуальных характеристик: это всеобщий судья, воин, обладающий мощной силой.

Очевидно, что вышеприведенный фрагмент пураны содержит в себе два типа эмоциональной валентности: негативный (эмоция ожидания возмездия, воспроизводимая неправедниками) и позитивный (эмоция ожидания благоприятного времени очищения, характерная для праведников). Антагонизм данных эмоций будет повторяться и в других текстах о Калки, но они будут описаны с разной интенсивностью. Отсутствие эмоций, вызванных формой «Вишну-пураны», а также эмоционально сдержанное содержание дают основание говорить о потенциально низкой интенсивности эмоционального восприятия данного текста. Несмотря на содержательную оппозицию двух передаваемых эмоций, в данном фрагменте нет катарсиса, соответственно нет основания для переживания эстетической реакции.

Далее рассмотрим два эпизода «Ваю-пураны», как примеры эмоциональных древних текстов о Калки:

«Тогда Калки во главе своих армий добьется своей цели. Все его враги уничтожат себя сами. Они сами по себе снова станут сиддхами. Ведомые неизбежной судьбой, они станут безумными, яростными и впадут в заблуждение, что станет причиной их взаимного уничтожения. Вместе со своими последователями он достигнет вечного покоя между Гангом и Ямуной. Когда Калки будет проходить мимо, цари умрут вместе со своими солдатами. Никто больше не сможет удерживать людей. Когда не станет охраны, они станут убивать друг друга в бою. Потеряв доверие друг к другу, они станут обеспокоенными и раздраженными и станут крайне подавленными» [5. Vol. 2. P. 723].

«Никто не сможет утешить этих людей. Они будут страдать от болезней и скорбей. Они станут бездомными и будут претерпевать засуху и взаимную вражду. У них не будет никого, кто смог бы их поддержать. По причине уныния и страха они перестанут работать. Покинув свои деревни и города, они уйдут в леса» [Ibid. P. 767].

Данные фрагменты транслируют однородно негативные эмоции ожидания всеобщего эсхатологического возмездия, в своей активной (безумие и агрессия прямых врагов Калки) и пассивной фазах (меланхолия всех людей). Подробное описание эмоционального восприятия наказания врагов и меланхолического состояния людей накануне эсхатологической катастрофы дает возможность для потенциального соаффекта — как сопереживания людям, обреченным на страдания в конце завершения временного цикла. Фрагменты о Калки из «Ваю-пураны», несмотря на интенсивное эмоциональное содержание, практически лишены художественных построений с точки зрения формы, что и становится причиной отсутствия катарсиса и эстетической реакции в их восприятии.

Теперь перейдем к анализу одного из эпизодов, который содержится в Лалитапакхьяне — в одном из текстов, включенных в корпус «Брахманда-пураны».

«Он будет верхом на лошади. Его слава будет ослепительной. Он сотворит аттахаса (aṭṭahāsa), этот звук будет подобен грому. Кираты упадут в обморок и умрут, шакты будут в восторге. Десять аватар, исполняя это трудное задание, поклонятся Лалите. Они будут привлечены матерью Лалитой для защиты добродетели и чистоты в каждой калъпе» [6. P. 288].

Для составителей данного текста Калки является порождением одной из ипостасей богини Парвати-Лалиты (*pārvatī-lalitā*) — играющей богини. Помещение Калки в контекст шактистского мифа сразу меняет эмоциональное содержание мифа: здесь можно уже увидеть ужас и экстаз, внушаемый образом Калки. Ата-хаса — это апокалипсический смех Шивы или его будущая манифестация, которая совершится в Гималаях во время двадцатой юги. Кираты (*kirāta*) — древний горный народ, который, возможно, поклонялся Шиве [8. С. 49].

Эпизод «Брахманда-пураны» демонстрирует механизм становления катарсиса: фабула, в которой Калки является главным героем, осуществляющим эсхатологическое правосудие, совершенно изменяет свой смысл. Теперь Калки — это один из второстепенных персонажей, воюющих на стороне богини и повергающих ее врагов. Противоречие между фабулой (эсхатологическим главенством Калки) и формой (ситуативной ролью в войнах богини) усиливается тем, что первичная безэмоциональность Калки и его безучастность в эмоциональном контакте с праведниками и неправедниками трансформируется в противоположные чувства, что и становится поводом для катарсиса.

В тексте «Калки-пураны» образ Калки является наиболее полной компиляцией всех сведений, воспроизводимых в ранних текстах, в форме самостоятельного памятника. Рассмотрим некоторые типичные фрагменты «Калки-пураны», где идет речь об эмоциях Калки и его окружения.

«Желая уничтожить вражеских воинов, Господь Калки, чей взор усиливал наслаждение всех юных девушек, обитель высшего блаженства, посмотрел на них в страшном гневе. Сердца преданных преисполнились радости, смотря на лотосоподобное лицо Господа в таком гневе» [9. С. 58].

«Когда солдаты буддистов увидели своего вождя лежащим мертвым на земле, то стали кричать в агонии. О, брахманы, убийство Джины погрузило солдат Господа Калки в океан великого счастья» [Там же. С. 54].

«Каждый, кто был свидетелем этой великой битвы, приходил в изумление и в испуг, хотя Господь Калки — Господин всех живых существ, испытывал блаженство. В действительности поле брани было затоплено морем крови» [Там же. С. 59].

Несмотря на ужасы битвы, Калки везде сохраняет «взор усиливающий наслаждение всех юных девушек, обитель высшего блаженства». С точки зрения традиции индуистского эпического текста, устойчивые выражения, описывающие позитивное эмоциональное восприятие Калки, являются в некотором смысле искусственными традиционными вставками или «окаменевшими эпитетами» [10. С. 258], утратившими свое первоначальное значение и вводимыми в текст автоматически вместе с именем Калки. Согласно С.Л. Невелевой [9. С. 21] постоянные эпитеты, которые мы наблюдаем при описании образа Калки в «Калки-пуране», не связаны с конкретной ситуацией сюжета, так как они достаточно часто нелогично встроены в контекст и противоречат ходу событий. Если мы опустим текстологические знания о традициях пуранической литературы и посмотрим на текст «Калки-пураны» через призму психологического анализа, то блаженство

и отрешенность Калки может иметь несколько смыслов с точки зрения работы эмоциональной техники текста.

Отчужденное блаженное состояние Калки — это его внутренний эмоциональный стержень, который присутствует повсюду и поглощает ситуативные внешние эмоциональные реакции Калки. Внутренние и внешние состояния Калки образуют конфликт позитивного максимума, передаваемого эмоциональными эпитетами и сравнениями — такими как «океан великого счастья», «обитель высшего блаженства и негативного максимума», «лицо в страшном гневе». Характер Калки, его внутренняя безмятежность и отчужденность практически всегда вступают в противоречие с эмоциями его окружения, что усиливает контрастный эмоциональный эффект восприятия текста.

В «Калки-пуране» присутствует концепт игры Калки как ведантийской идеи творящей игры Бога (Iṭā), с помощью которого он создает материальный мир и все события в нем. Игра Калки — это «вечное театральное представление, исполненное блаженства для его персонажей» [10. С. 186]. Таким образом, блаженная отрешенность Калки — это эмоциональная реализация идеи лилы, божественной игры, то есть отсутствия каких-либо аффективных реакций на все происходящее, так как оно нереально. Ситуативные внешние эмоции Калки — это исполнение роли в театральном представлении, в котором все условно и определено заранее.

Если посмотреть на «Калки-пурану» как на эпос, основной задачей которого было распространение идей бенгальского вишнуизма, то блаженство и отрешенность Калки, его внутренняя непричастность к любым внешним событиям, с точки зрения психологического анализа текста, можно проинтерпретировать как стандарты и образцы эмоционального поведения для каждого последователя вишнунитской религиозной доктрины.

Подводя итоги, необходимо отметить, что древние «Вишну-» и «Ваю-» пураны содержат в себе первоначальные сведения о Калки и его предназначении, о тех мифологических образах, с которыми он вступает в контакт, и о том, какие эмоции они должны будут испытать при взаимодействии с ним. Сведения этих пуран — это фабула мифа о Калки, которая полностью перерабатывается в эпизоде «Брахманда-пураны» и в целом тексте «Калки-пураны». В процессе художественного оформления полностью меняется первоначальное содержание мифа о Калки как божестве, вершащем правосудие перед концом мира. В «Брахманда-пуране» Калки становится частью шактистского сюжета о войнах богини Лалиты, в «Калки-пуране» он — эпический герой, воюющий против сторонников Кали, проповедующий доктрины бенгальского вишнуизма и благоустраивающий землю для своих последователей на момент смены юг. Таким образом, мы можем утверждать, что в двух последних памятниках первичное содержание мифа о Калки полностью преодолевается композиционной формой повествования, что совершенно наглядно показывает работу закона уничтожения содержания формой.

Исходя из анализа фрагментов пуран, можно считать, что внутреннее состояние Калки не имеет характеристик в «Вишну-» и «Ваю-» пуранах, в «Брахманда-

пуране» Калки выражает сакральную эмоцию, в «Калки-пуране» — безмятежность и отрешенность. Каждая эмоция Калки, описанная в двух последних текстах, имеет свой религиозно-философский контекст и транслируется «Калки-пураной» как идеал для подражания.

Восприятие Калки его окружением в «Вишну-» и «Ваю-» пуранах можно свести к чередованию позитивных и негативных базовых эмоций эсхатологического ожидания: радости праведных в связи с очищением земли от религиозной и социальной нечистоты, печали и унынию всех нечестивцев, ожидающих возмездия. В «Брахманда-» и «Калки-» пуранах окружение Калки переживает экстаз и восторг, агонию и страх. В целом, в пуранических эпизодах о Калки можно проследить постепенное нарастание интенсивности эмоционального содержания, которое транслирует эмоции разной силы: от эмоций эсхатологических ожиданий до ситуативных эмоций конкретных переживаний определенных событий (войн).

Итогом анализа эмоциональных структур текстов о Калки является нахождение точки катарсиса между противоположными аффектами и оценка эстетической реакции как таковой. Эпизод «Брахманда-пураны» является благоприятным для появления катарсиса, поскольку в нем мы наблюдаем столкновение эмоции Калки (смех—аттахаса) и шактов (экстаз) с эмоциями киратов (агония), но так как данный катарсис, из-за краткости данного эпизода, не достигает своего разрешения в общей трансформации аффектов, то здесь нельзя говорить о полноценной эстетической реакции.

Катарсис «Калки-пураны» заключается в противоречии между внутренним эмоциональным состоянием Калки и аффектами его окружения, которое преодолевается в процессе эстетической реакции и замещается блаженством Калки, к которому приобщаются его последователи.

Использование инструментов анализа эмоциональности художественного текста в религиозных текстах пуран позволило выявить художественные структуры, воздействующие на восприятие мифологического образа Калки и связанных с ним сюжетов. Но все же методология Л.С. Выготского, применяемая к религиозному тексту, не охватывает религиозно-философский контекст памятника, в котором каждый художественный образ является сложной системой элементов, связанных с определенной религиозной традицией и ритуалом.

© Иванова А.С., 2017

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Первое издание «Психологии искусства», в которое вошли исследования Л.С. Выготского 1915—1922 гг., было опубликовано в 1965 году, второе — в 1968 году, третье — в 1986 году.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Rocher L. The Puranas*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1986.
- [2] *Выготский Л.С. Психология искусства*. М.: Искусство, 1986.
- [3] *Vishnu Purana with Vishnuchittiyam Commentary*. Kanchipuram: Granthamala Office, 1972.

- [4] The Vayu Purana. A System of Hindu Mythology and Tradition. Calcutta: Biblioteka Indica, 1881.
- [5] Lalitapakhyana from the Uttarkhanda of Brahmandapurana. Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1918.
- [6] *Roshen D.* Hinduism: An Alphabetical Guide. India: Penguin, 2010.
- [7] Kalki Purana of Sri Veda Vyasa / Edited and published by Sri Jibananda Vidyasagara Bhattacharya. Calcutta, 1890.
- [8] *Шталь И.В.* Художественный мир гомеровского эпоса. М.: Наука, 1983.
- [9] *Невелева С.Л.* Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса: Эпитет и сравнение. М.: Наука, 1979.
- [10] *Останин В.В.* Человек играющий и вишнуйский ренессанс XVI—XVII веков // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2005. Т. 17. Вып. 1.

Для цитирования:

Иванова А.С. Эмоциональные структуры восприятия религиозных текстов (образ Калки в средневековых пуранах) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2017. Т. 21. № 4. С. 612—620. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-612-620.

Сведения об авторе:

Иванова Анастасия Сергеевна — аспирантка Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (anastasuwa_iv@mail.ru)

For citation:

Ivanova, A.S. Emotional Structures of Perception of Religious Texts (The Image of Kalki in Medieval Puranas). *RUDN Journal of Philosophy*. 2017; 21 (4): 612—620. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-612-620.

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-612-620

EMOTIONAL STRUCTURES OF PERCEPTION OF RELIGIOUS TEXTS (The Image of Kalki in Medieval Puranas)

A.S. Ivanova

St. Tikhon Orthodox University
23/5A, Novokuznetskaya Str., 115184, Moscow, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the psychological aspects of perception of the mythological image of Kalki — the tenth avatar of Vishnu, the Hindu messiah, whose coming will destroy the moral and religious decline in the last days of Kali-yuga. The emotionality of the artistic text can be reduced to a constant antagonism between the emotional affects of form and emotional content of the text, during which there is a catharsis, provoking the reader's aesthetic response. The use of psychological analysis of emotional structures of religious text on the material about Kalki in the medieval Purāṇas gives the opportunity to assess the quality and intensity of emotional experiences, associated with the perception of the image of the mythological hero. Our goal is to test the method of Vygotsky, described in the “Psychology of Art”, and to study the emotional content of the religious text on the material of the Purāṇic myth about Kalki.

Key words: Kalki, affect, aesthetic response, catharsis, art psychology, emotional structure

REFERENCES

- [1] Rocher L. *The Puranas*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz; 1986.
- [2] Vygotskii LS. *Psikhologiya iskusstva*. Moscow: Iskusstvo; 1986. (In Russ.)
- [3] *Vishnu Purana with Vishnuchittiyam Commentary*. Kanchipuram: Granthamala Office; 1972.
- [4] *The Vayu Purana. A System of Hindu Mythology and Tradition*. Calcutta: Bibliotheca Indica; 1881.
- [5] *Lalitapakhyana from the Uttarkhanda of Brahmandapurana*. Bombay: Nirnaya-Sagar Press; 1918.
- [6] Roshen D. *Hinduism: An Alphabetical Guide*. India: Penguin; 2010.
- [7] *Kalki Purana of Sri Veda Vyasa*. Edited and published by Sri Jibananda Vidyasagara Bhattacharya. Calcutta; 1890.
- [8] Shtal' IV. *Khudozhestvennyi mir gomerovskogo eposa*. Moscow: Nauka; 1983. (In Russ.)
- [9] Neveleva SL. *Voprosy poetiki drevneindiiskogo eposa: Epitet i sravnenie*. Moscow: Nauka; 1979. (In Russ.)
- [10] Ostanin VV. Chelovek igrayushchii i vishnuistkii renessans XVI—XVII vekov. *Vestnik Altai-skogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 2005;17(1). (In Russ.)



DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-621-627

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ УПАДОК ВЬЕТНАМСКОГО КОНФУЦИАНСТВА В XVI—XVIII В.

Нгуен Ван Зьонг

Российский университет дружбы народов
117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

В XVI—XVIII веках произошли кардинальные изменения в политической и социально-экономической сферах Вьетнама. Конфуцианство как политическое учение оказалось неспособным обеспечить стабильность централизованной власти, а его положения и догмы стали неубедительными для общества. Так как конфуцианские ценности утратили свою привлекательность для общества, от ученых-конфуцианцев потребовались конструктивные решения и действия, которые могли бы привести к восстановлению прежних позиций конфуцианства в обществе.

Ключевые слова: конфуцианство, буддизм, даосизм, государственная религия, феодализм во Вьетнаме

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА ПОЛОЖЕНИЕ КОНФУЦИАНСТВА ВО ВЬЕТНАМСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В эпоху XVI—XVIII вв. феодальные кланы продвигали учение сунского конфуцианства. В основу господствующей идеологии были положены конфуцианские идеи Чжу Си (кит.: 朱熹; 1130—1200), они должны были служить подпорками бюрократической централизованной системы власти, сформированной по модели эпохи Ранних Ле (1428—1527). Конфуцианство оставалось государственной религией, инструментом господства феодальных кланов. Императорский дом по-прежнему всеми силами стремился сохранить его монополию. Так, например, конкурсные экзамены, на которые допускались лица, имевшие конфуцианское образование, как и прежде являлись основным средством отбора кадров и пополнения государственного чиновничьего аппарата. Именно люди с конфуцианским образованием занимали подавляющее большинство постов в государственном аппарате бюрократизированного монархического режима. Но при этом с 30-х годов XVI в. из-за деградации феодального строя, ослабления центральной власти, непрерывных войн между различными кланами и группировками, подъема народного движения, а также благодаря мощному воздействию товарного производства происходит все большее ослабление идеологических позиций конфуцианства. Лежавшие в основе феодального общества моральные принципы и нормы по сути носили формальный характер, в действительности же конфуцианство утратило монопольные позиции. Когда в XVI—XVIII вв. феодальный строй во Вьетнаме оказался в затяжном кризисе, сопровождавшемся ослаблением позиций и упадком конфуцианства, то со всей очевидностью вскрылись его консерватизм, догматизм и беспомощность.

Конфуцианство постулирует незыблемость императорской власти, настаивает на значимости такой добродетели, как преданность: от верноподданных требовалось проявлять абсолютную покорность императору. Однако в XVI—XVIII в., несмотря на многочисленные императорские указы, конфуцианцы не смогли предотвратить действия, которые шли вразрез с этим постулатом и нарушали установленные отношения между императором и подданными. Ярким примером являются следующие факты, представленные в книге «Процесс вьетнамской истории». Фан Тхань Зан писал: «Мак Дан Зунг (1) убил императора Ле Кунг Хоанга (2) и основал династию Мак» [10. С. 98]. «В 1782 г. солдаты императорского двора подняли мятеж, в результате чего был убит государь Чинь Кан (3)» [10. С. 759]. Кроме того нарушались: *принцип* («соответствия имени занимаемому положению в обществе»); *три устоя* («правитель — подданные, отец — сын, муж — жена») и *пять постоянств* («гуманизм, долг, учтивость, мудрость, доверие»). Это касалось представителей императорского двора самого высокого ранга и подданных более низкого уровня, членов императорской семьи и всех тех, кто жил в императорском дворце.

В конфуцианстве также особо превозносились моральные качества и нравственное совершенство императора, так как от этого зависит процветание династии и государства в целом. Нгуен Зи (1497—?) отмечал: «Тот, кто является императором, должен взять за основу добродетель. Добродетель должны вобрать в себя и весь императорский двор, и чиновники, и народ» [7. С. 89]. Однако конфуцианство не могло ничего поделать с тем, что в реальности многие императоры и князья вели необузданную, разгульную жизнь, ударялись в пьянство и разврат, совершали убийства, бросали в темницу и подвергали истязаниям своих подданных, ни в чем не повинных людей. Это было характерно для многих императоров династии Мак и князей рода Чинь. Нго Ши Лиен отмечает: «Император Тьонг Дык (1495—1516) прелюбодействовал со второй женой своего отца, когда тот был императором, прикрываясь именем своего старшего брата безжалостно разорял страну, жил в чрезмерной роскоши и неимоверном разврате, ввел суровые наказания и тяжелые налоги. Он уничтожил всех принцев крови и значительную часть аристократии, нажил себе врагов по всей стране, что привело к повсеместным бунтам» [8. С. 83].

Конфуцианцы говорили о важности пути «совершенствования, соблюдения порядка, мудрого управления, сохранения спокойствия» (7) и мира в интересах укрепления строя и обеспечения стабильности в обществе, призывали феодальные кланы высоко нести знамя «преданности Ле», знамя гуманности и справедливости, ставить императора превыше всего, чтобы страна вновь процветала, как это было в эпоху императора Ле Тхань Тонга (1442—1497). Но феодальный класс использовал конфуцианство вовсе не для достижения вышеперечисленных целей. В результате государство отдалялось от конфуцианского идеала и все больше и больше погружалась в смуту. В стенах императорского дворца родители и дети, родные братья императорской семьи поднимались на борьбу друг с другом. А за стенами императорского дворца солдаты устраивали бунты и мятежи. Фан Тхань Зан

писал: «...повсюду развелось столько бандитов, что они напоминали пчелиный рой» [10. С. 500]. Долгое время продолжались вылазки уцелевших приверженцев династии Мак (это происходило в период с 1592 по 1677 г.), то и дело вспыхивали крестьянские восстания против императорского двора и феодальных кланов, крестьянское движение с каждым годом приобретало все больший размах.

КРИЗИС КОНФУЦИАНСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

На конфуцианцах лежала обязанность помогать императору в управлении страной и умиротворении народа. Однако, когда рухнул идеал стабильного, процветающего, умиротворенного общества, ученые-конфуцианцы оказались растерянными и неспособными что-либо предложить. Конфуцианцы прочно держались за консолидирующую идею «преданности монарху», но все равно не смогли избежать раскола в своих рядах.

В XVI—XVIII вв. перед ними встала проблема выбора между тем, что является законным и незаконным, между служением обществу или самоустранением от дел. Решение этих вопросов не лежало в чисто теоретической плоскости: одни, следуя чувству собственного долга, покончили собой, другие умирали за императора. Однако большинство заняло конформистскую позицию. Можно сказать, что нравственные ориентиры оказались забытыми: конфуцианцы изменяли своему долгу, поскольку одновременно почитать двух императоров и считать себя верно-подданными было невозможно. Понятно, что такие их действия подрывали основы утверждаемых отношений «государь — подданные», установленные моральные нормы и принципы поведения. Все это в итоге привело к упадку конфуцианства.

Расслоение в рядах конфуцианцев проявилось еще и в том, что довольно многочисленная их часть не стала служить никакой власти или же служила очень короткий период, а потом уединилась в сельской местности и вела отшельнический образ жизни. Эти отшельники, как правило, были вне борьбы, но при этом оказались в оппозиции феодальным кланам. Нгуен Ким Шон написал: «...В этот период истории Вьетнама с XVI по XVIII вв. многие известные конфуцианцы, такие как Нгуен Бинь Кхием, Нго Тхи Ши, Нгуен Тхиеп, отказались от чиновничьей службы и удалились в уединенные места, где они могли бы осмыслить сложившуюся в стране ситуацию, избавиться от разочарования и неудовлетворенности с помощью квиетической философии даосизма или буддийской философии» [5. С. 14—20].

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ КОНФУЦИАНСТВА ВО ВЬЕТНАМСКОМ ФЕОДАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Осознавая бессилие конфуцианства и ограничение его влияния, ученые-конфуцианцы разработали своеобразную «программу», нацеленную на восстановление конфуцианства в интересах феодального строя. К основным направлениям этой программы можно отнести, во-первых, инициативу соединения конфуцианства с буддизмом и даосизмом, во-вторых, активное изучение конфуцианских канонических книг.

Говоря об идейных брожениях во вьетнамском обществе того периода, Нгуен Данг Тхук в первом томе «Истории вьетнамской мысли» отметил: «В благоприятные и спокойные времена следует опираться на конфуцианство, в годы потери равновесия необходимо прибегать к даосизму, в период трудностей и бедствий нужно ориентироваться на буддизм» [6. С. 93]. Конфуцианство воспользовалось идеями буддизма и включило их в свою теоретическую базу. Именно тогда сложилась тенденция к «объединению трех учений» на основе конфуцианства. В то же время существовала и другая тенденция: в ответ на запросы общества изменения происходили в самом теоретическом ядре конфуцианства.

Что касается тенденции к «объединению трех учений», то в ее рамках было предложено множество вариантов этого объединения. Нгуен Бинь Кхием выступал за сочетание конфуцианства с даосизмом. Нгуен Зы был приверженцем идеи сочетания конфуцианства с буддизмом и даосизмом. Были и те, кто предлагал объединить конфуцианство, буддизм и даосизм в единый блок. Совершенно очевидным является то, что какой бы вариант объединения не предлагался, главной целью всех предложений было укрепление монопольных позиций и ведущей роли конфуцианства, а также подрыв процесса восстановления влияния буддизма и даосизма в политической жизни страны. Так, например, Нго Тхи Ши (1726—1780) считал, что «Будда и Лао-цзы — это просто-напросто другие имена; и буддизм, и даосизм находятся в рамках нашего учения Конфуция» [4. С. 15]; Чинь Туэ утверждал: «Все знают, что три учения неравнозначны и буддизм и даосизм в одном потоке с конфуцианцами» [3. С. 145].

Что касается второй тенденции, то изучение канонических книг конфуцианства и развитие этой отрасли знаний (особенно активно данный процесс происходил в XVIII в.) шло сразу по многим направлениям: сверка текстов, комментирование, аннотирование, выделение главного, перевод конфуцианских сочинений на «Тыном» (вьет.: *chữ nôm*), их изложение в стихотворной форме. Среди многообразных направлений самым значимым для вьетнамских ученых-конфуцианцев было комментирование. Ле Куи Дону принадлежит целый ряд сочинений, представляющих собой комментарии к таким классическим текстам, как «Книга документов» (кит.: *書經*) и «Книга перемен» (кит.: *易經*). Ле Кюи Дон (1726—1784) отмечал: «Шестикнижие — это сборник, который учит постигать сущность вещей и явлений, быть искренним и честным, стремиться к самосовершенствованию, блюсти порядок в доме, управлять страной и поддерживать спокойствие среди людей. Но что касается правил для природы и человека, то вполне достаточно книги перемен» [2. С. 52]. Нго Тхи Ням (1746—1803) написал «наставления о (чуньцзю) (9)» (вьет.: *Huân Thu quãn kiển*). Кроме того, многие ученые-конфуцианцы написали большое количество сочинений, в которых популяризовали канонические книги конфуцианства. Ле Куи Дон создал «Краткое изложение чуньцзю» (вьет.: *Huân Thu lược luận*), «Разъяснение четверокнижия» (вьет.: *Tứ thư ước giải*). Буй Хюи Бить также сделал «Краткий вариант четверокнижия». Фан Дай Зоан в этой связи пишет: «Такая подпитка конфуцианства вывела его на новый уровень

теоретического осмысления, укрепила его ортодоксальную сущность и консерватизм...» [9. С. 73].

Указанные меры можно рассматривать как проявление «образцового» отношения конфуцианцев к конфуцианству. Они прибавили конфуцианству догматизма и консерватизма и в то же время помешали его окончательному регрессу. Когда было ослаблено конфуцианство, конфуцианская дисциплина продемонстрировала эффект «замирания», но не могла воспрепятствовать растущему интересу к буддизму и даосизму. В эту кризисную эпоху люди стали обращаться к буддизму и даосизму, несмотря на предпринятые «охранительные» усилия со стороны конфуцианцев. В «Собрании кратких исторических записок» (вьет.: *Toàn thư sửng mục*) (10) сказано, что даже императоры, князья, жены императора, чиновники разного уровня обращались к буддизму и даосизму: верили в чудеса, строго соблюдали буддийские и даосские обряды, поклонялись божествам буддизма и даосизма. XVI—XVIII вв. были временем возрождения этих двух религий. Это и раскрывает в определенной мере механизм ослабления позиций конфуцианства. Чан Чонг Ким отмечает: «Социальный кризис, войны, голодные бунты, острые социальные противоречия XVIII в., а также ослабление влияния конфуцианских идей и возрождение народной культуры оказались важными факторами того, что у буддизма и даосизма появились большие, чем в прошлых столетиях возможности для упрочения своих позиций и расширения своего влияния на вьетнамское общество» [11. С. 79].

Подводя итог, можно сказать, что в XVI—XVIII вв. конфуцианство по-прежнему остается официальной идеологией вьетнамского общества, но представляет собой не цельное учение, а весьма противоречивый и неоднородный феномен. Политический потенциал конфуцианства оказался недостаточным для обеспечения стабильности централизованной власти, аксиологический — недостаточным для стабильности общества.

© Нгуен Ван Зьонг, 2017

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Мак Данг Зунг (1483—1541) — политический деятель, император, основавший династию Мак.
- (2) Ле Кунг Хоанг (1507—1527) — одиннадцатый император династии Поздних Ле, находился на троне с 1522 по 1527 гг., последний император эпохи Ле Шо.
- (3) Чинь Кан (1777—1782) — девятый государь династии Чинь эпохи Ле Чунг Хынг, находился на троне с сентября по ноябрь 1782 г.
- (4) Чинь Чанг (1577—1657) — второй государь династии Чинь эпохи Ле Чунг Хынг.
- (5) Чинь Зянг (1711—1762) — шестой государь династии Чинь эпохи Ле Чунг Хынг.
- (6) Чинь Кьонга (1686—1729) — пятый государь династии Чинь эпохи Ле Чунг Хынг, находился на троне с 1709 по 1729 гг.
- (7) Это изречение Конфуция приводится в книге «Великое учение», которая является первой книгой китайского четверокнижия.
- (8) Белое облако (*Bạch Vân*) — псевдоним автора.

- (9) «Чуныцзю» — «Весны и осени».
- (10) «Тоан thư cương mục — Тоан тхы кьонг мук» — Официальная история Вьетнама династии Нгуен, написанная на ханване (китайская иероглифическая письменность).

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Зьонг Хонг* (пер). Краткий вариант четверокнижия. Ханой: Изд-во «Общественные науки», 2002. (Duong Hồng (biên dịch). Tóm tắt tứ thư. Nxb khoa học xã hội. Hà Nội, 2002.)
- [2] *Ле Куи Дон*. Правила династий. В 4-х тт. Т. 4. Ханой: Изд-во «История», 1962. (Lê Quý Đôn. Lịch triều hiến chương loại chí, tập 4, Nxb Sử học, 1962.)
- [3] *Нгуен Тай Тхы* (ред). Теоретические проблемы в истории вьетнамской мысли. Ханой: Изд-во «Академии философии», 1984. (Nguyễn Tài Thư. Một số vấn đề lý luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Viện Triết học xuất bản, Hà Nội, 1984.)
- [4] *Нго Тху Ши*. Записки из пещеры Нитхань. Сборник стихов, написанных в пещере Нитхань — Лангшон, 1780. (Ngô Thi Sĩ. Ký động nhi thanh. Tập thơ làm ở động Nhị Thanh — Lạng Sơn, 1780.)
- [5] *Нгуен Ким Шон*. Три религиозные тенденции интеграции Вьетнамской мысли в XVIII веке // Журнал религиоведения. 2007. № 8. (Nguyễn Kim Sơn. Xu hướng hội nhập Tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII. Hà Nội. Tạp chí nghiên cứu tôn giáo, số 8/2007.)
- [6] *Нгуен Данг Тхук*. История вьетнамской мысли. В 5-х тт. Т. 1. Хошимин: Изд-во «Хошимин город», 1998. (Nguyễn Đăng Thực. Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1998.)
- [7] *Нгуен Зы*. Записки об удивительном. Хошимин: Изд-во «Дети», 1988. (Nguyễn Dữ. Truyền kỳ mạn lục. Nxb Trẻ, TP.HCM, 1988.)
- [8] *Нго Ши Лиен*. Полное собрание исторических записок Дайвьета. В 4-х тт. Т. 4. Ханой: Изд-во «Общественные науки», 1968. (Ngô Sĩ Liên. Đại việt sử ký toàn thư, tập 4. Nxb khoa học xã hội. Hà Nội, 1968.)
- [9] *Фан Дай Зоан*. К вопросу о конфуцианстве во Вьетнаме. Ханой: Изд-во «Государственная политика», 1998. (Phan Đại Doãn. Một số vấn đề về nho giáo Việt Nam. Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.)
- [10] *Фан Тхань Зан* (ред). Процесс вьетнамской истории. В 2-х тт. Т. 2. Ханой: Изд-во «Образование», 1998 (Phan Thanh Giản (chủ biên). Khâm định Việt sử thông giám cương mục. tập 2 (Viện sử học Việt Nam phiên dịch). Hà Nội: nxb giáo dục, 1998.)
- [11] *Чан Чонг Ким*. Конфуцианство. Ханой: Изд-во «Культура-информация», 2008. (Trần Trọng Kim. Nho giáo. Hà Nội. Nxb: Văn hóa thông tin, 2008.)

Для цитирования:

Нгуен В.З. Идеологический упадок вьетнамского конфуцианства в XVI—XVIII вв. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2017. Т. 21. № 4. С. 621—627. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-621-627.

Сведения об авторе:

Нгуен Ван Зьонг — аспирант кафедры истории философии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (e-mail: hphilosophy@mail.ru)

For citation:

Nguyen, V.D. The Ideological Disturbance of Vietnam Confucianism in the XVI—XVIII Centuries. *RUDN Journal of Philosophy*. 2017; 21 (4): 621—626. doi: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-621-627.

THE IDEOLOGICAL DISTURBANCE OF VIETNAM CONFUCIANITY IN THE XVI—XVIII CENTURIES

Nguyen Van Duong

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)
6, Miklukho-Maklaya Str., 117198, Moscow, Russian Federation

Abstract. In the 16—18th centuries there was a large number of cardinal changes in the political and socio-economic life of Vietnam. Confucianism as a political doctrine proved powerless to ensure the stability of centralized power, its position and dogma were already unconvincing for the society. Since Confucian values lost their brilliance, therefore, Confucian scientists required some actions that could lead to the restoration of former positions and the role of Confucianism among the ruling elite of the feudal system and in the society of that era.

Key words: confucianism, buddhism, taoism, state religion, feudalism in Vietnam

REFERENCES

- [1] Duong Hong. *A Short Version of the Four-Stone*. Hanoi: Publisher «Social sciences»; 2002. (Dương Hồng (biên dịch). Tóm tắt tứ thư. Nxb khoa học xã hội. Hà Nội, 2002.)
- [2] Le Quy Don. *The Full Chronicle of Dynasties*. In 4 vol. Vol. 4. Hanoi: Publisher «History»; 1962. (Lê Quý Đôn. Lịch triều hiến chương loại chí, tập 4, Nxb Sử học, 1962.)
- [3] Nguyễn Tài Thụ. *Some Theoretical Issues on the History of Vietnamese Thought*. Hanoi: Publisher «Institute of philosophy»; 1984. (Nguyễn Tài Thụ. Một số vấn đề lý luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Viện Triết học xuất bản. Hà Nội, 1984.)
- [4] Ngo Thi Si. *Notes from the Cave of Nhi Thanh. Collection of Poems Written in the Cave Nhi Thanh — Lang Son, 1870*. (Ngô Thi Sĩ. Ký động nhi thanh. Tập thơ làm ở động Nhị Thanh-Lạng Sơn, 1780).
- [5] Nguyen Kim Son. Three Religious Trends in the Integration of Vietnamese Thought in the 18th Century. *Journal of Religious Studies*. 2007;(8). (Nguyễn Kim Sơn. Xu hướng hội nhập Tam giáo trong tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII. Hà Nội. Tạp chí nghiên cứu tôn giáo, số 8/2007.)
- [6] Nguyen Đàng Thúc. *History of Vietnamese Thought*. In 5 vol. Vol 1. Ho Chi Minh: Publisher «Ho Chi Minh City»; 1998. (Nguyễn Đàng Thúc. Lịch sử tư tưởng Việt Nam. Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1998.)
- [7] Nguyen Du. *Collection of Strange Tales*. Ho Chi Minh City: Publisher «Children»; 1988. (Nguyễn Dữ. Truyền kỳ mạn lục. Nxb Trẻ, TP.HCM, 1988.)
- [8] Ngo Si Lien. *Full Collection of Daiviet's Historical Notes*. In 4 vol. Vol. 4. Hanoi: Publisher «Social sciences»; 1968. (Ngô Sĩ Liên. Đại việt sử ký toàn thư, tập 4. Nxb khoa học xã hội. Hà Nội, 1968.)
- [9] Phan Dai Doan. *To the Question of Confucianism in Vietnam*. Hanoi: Publisher «National politics»; 1998. (Phan Đại Doãn. Một số vấn đề về nho giáo Việt Nam. Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.)
- [10] Phan Thanh Gian. *Approved by the Highest Command of the Universal Mirror of the History of Vietnam, the Basis and Particulars*. Hanoi: «Education»; 1998 (Phan Thanh Giản (chủ biên). Khâm định Việt sử thông giám cương mục. tập 2 (Viện sử học Việt Nam phiên dịch). Hà Nội: nxb giáo dục, 1998.)
- [11] Tran Trong Kim. *Confucianism*. Hanoi: Publisher «Culture — information»; 2008. (Trần Trọng Kim. Nho giáo. Hà Nội. Nxb: Văn hóa — thông tin, 2008.)

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: 10.22363/2313-2302-2017-21-4-628-630

ОРЕХОВ А.М. «ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЛЕД ЗА СОВОЙ МИНЕРВЫ: АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ». — М.: Инфра-М, 2016. — 196 с.

О.К. Шевченко

Книга А.М. Орехова «Путешествие вслед за Совой Минервы: Античная философия», безусловно, выступает как неординарное и крайне важное для отечественной философии событие. В этом весьма необычном философском произведении совмещаются два жанра: «художественный» и «популярный», вот почему книгу наиболее точно назвать даже не «научно-популярным» изданием, а «художественно-популярным». Одновременно А.М. Орехов совмещает в тексте совершенно противоположные вещи: с одной стороны, солидную академическую респектабельность, а с другой — шаловливость современной постмодернистской прозы. Четыре героя — сам автор (он себя скромно именует «Андрей Михайлович»), двое студентов — Петр Аскин и Лиза Каблучкова, «проводник по античной философии» Диоген Лаэртский — совершают на античной биреме «Метафизика» путешествие (реальное или виртуальное — судить читателю) в различные античные города, где знакомятся с видными философами и ведут с ними увлекательные философские беседы.

Анализируя сам текст «Совы», постепенно приходишь к выводу, что речь идет не просто об эклектичной хрестоматии или кентаврообразном учебном пособии. Нет, речь идет о вполне целостном, продуманном, очень тщательно выверенном в своих деталях труде. И снова возникает вопрос: какой жанр у этой книги? Бог весть. Научная монография — конечно же нет! Уж очень она близка к дидактической прозе. Научно-популярное издание? Ну что Вы, текст уж очень фундаментализирован фактами. Повесть? Да о чем вы, какая тут литература, когда автор нашпиговал книгу значительными отрывками древних философских манускриптов.

С нашей же точки зрения, А.М. Орехов сделал великолепное подспорье для любого университетского преподавателя философии. Просто замечательную *книгу для чтения* с оригинальным жанровым сюжетом и целостным литературным миром. Да и стоит ли в эпоху клипового сознания студенчества так уж быть требовательным к жесткому жанровому соответствию? Вколачивая текст в прокрустово ложе гиперкритики? Уверен, что не стоит.

Десять путешествий наших современников на волшебном корабле «Метафизика» с заходом во вполне физические и реальные порты Эллады и общением

с вполне историческими персонами античного мира дают очень богатую сюжетами историю философских исканий Древней Греции и Рима. Гибкая жанровость книги позволяет автору умело смещать ракурсы восприятия античной философии от виденья профессионального философа к виденью слегка экзальтированной и эмансипированной «мисс Каблучковой». Тщательная прорисовка бытовых деталей позволяет увидеть в философах прошлого не странички с буквами, а реальных, порой смешных, а порой и трагических личностей. Философы ведь были разные: хитрые и коварные, благородные и тщеславные, богатые и нищие. Вот эта жизненность прошлого, его физическая зримость — несомненное достоинство книги. А элегантно введенные аутентичные тексты античности становятся востребованными читателем, тогда как их размещение в толстенных хрестоматиях наводит на того же читателя тоску и зевоту.

Но, вероятно, следует сказать и о тех огрехах, которые имеет этот замечательный текст. Ведь, как говорят в Японии, *«шедевр обязан иметь изъян, иначе это простая подделка»*. В качестве такого изъяна укажем на явную параллель с «Божественной комедией» Данте. Порой, читая диалоги наших современников с Диогеном Лаэртским, капитаном «Метафизики», так и видишь диалоги Вергилия с Данте. Это не текстуальная, а скорее стилистическая схожесть. Схожесть на уровне смыслов, пафоса. Вероятно, автору стоило бы сознательно дистанцироваться от подобных совпадений и, быть может, более гротескно вылепить диалоги пассажиров и капитана «Метафизики».

Довольно странно было видеть в книге обычные штампы — как, например, рождение эллинской философии из самой эллинской философии. А между тем на современном уровне развития истории философии доказано, что многочисленные истоки философствования (не имитации философии, не начала мифологические и прочее) имели место в Финикии и на Ближнем Востоке. Существуют финикийские тексты, представленные содержательно вполне на уровне идей Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, но созданные в Финикии за несколько сотен лет до рождения этих мудрецов. Да и сам Фалес не был вполне эллином, а имел значительную добавку финикийской крови (также как Пифагор, который, весьма вероятно, был сирийцем). Из списка первых мифологических основателей эллинской философии, который приводит Диоген Лаэртский, но который не попал в книгу А.М. Орехова, большинство имен родом из Малой Азии и Ближнего Востока. Этот сюжет можно было бы красочно обыграть, тем более что жанр вполне позволяет, но автор пошел в этом вопросе по пути респектабельного консерватизма в рамках очень раскованного постмодернистского текста.

Из других огрехов, например, стоит указать на стр. 13, где описывается сражение под Троей: автор пишет «когорты воинов», тогда как «когорта» — это подразделение римской армии, а вовсе не ахейцев. Второе замечание касается стр. 93, где автор представляет суд над Сократом: «Огромный амфитеатр, заполненный несколькими сотнями лениво зевающих старичков-пенсионеров...». Но дело в том, что Сократа (как и других преступников) судили не в амфитеатре. Судилище находилось на холме Ареса северо-западной Акрополя в небольшой естественной котловине, которую с большим трудом можно было счесть за «амфитеатр».